Жан Бодрийяр
Соблазн



Marginem; 2000

Жан Бодрийяр
Соблазн

Елена Петровская
Вхождение в конечное

Есть способ чтения книг, оставляющий их восприятие открытым: это значит, что неявные отсылки остаются невосстановленными, что книга не попадает в ряд других — ей предшествующих и ее продолжающих, — что сами понятия, наконец (если издание является "научным"), так и не обретают своей непреложной окончательности. Короче, от книги в целом остается лишь некое ощущение, возможно даже некий соблазн, не требующие никакой определенности, — печать стиля, память настроения, неполный образ разыгранных тем. (Именно «разыгранных» — темы становятся скорее музыкальными, и их предписанный порядок растворяется в *моей* комбинаторике: я помню только те из них, что меня зацепили и увлекли благодаря тому, что затронули *мои* интерес.) Можно ли надеяться прочитать так Жана Бодрийяра, в беспамятстве или неведении, прочитать «Соблазн» *самим соблазном* — хотя для философа это важное понятие, далекое от психологических нюансов межличностных взаимоотношений? (Но и верное им — в своем частном значении; только в этом случае речь пойдет о другом градусе соблазна, о соблазне, совращенном со своего истинного пути: вот почему тут его фактическое содержание — уклонение от растущих ставок и рискованной случайности Игры.) Можно ли, иными словами, извлечь (дополнительный) смысл из бодрийяровской манеры письма, самой по себе завораживающей? По-видимому, да, даже если этим и будет нанесен ущерб выстроенной философом обобщающей теоретической модели. (Впрочем, ее контуры проступают уже при фрагментарном чтении: ясно, например, что знак наделяется в современную эпоху небывалыми характеристиками — он существует сам по себе, не отсылая более ни к референту, ни к реальности. С другой стороны, потоки знаков, образующие код, есть способ политэкономического функционирования развитой системы: эта система уравнивает знаки и товары и довольствуется производством одних лишь эффектов реальности. Тотальная симуляция. Засилье гиперреального.)

В этой книге сам соблазн в его предельном выражении как будто постоянно ускользает.

Мы не знаем больше *такого* соблазна: дуально-дуэльного, агонического, или состязательного, соблюдающего условное правило в противовес необходимому закону. Мы не знаем соблазна брошенного вызова, на которой обязателен неравноценный ответ. Иными словами, не знаем соблазна как судьбы. Но когда его знали? Да и как мы можем знать о нем, если все, что от него осталось, это притчи, философские повествования, литературные рассказы? Если это (дабы завершить короткий список) искусство дарящих чистую видимость обманок, азартные игры и отчасти травестийный опыт? Короче, если все, что окружает нас сегодня, это прирученный, «микшированный» соблазн, превратившийся в разновидность ностальгии? Ностальгию вызывает тайна, которую отняли, смысл, который стал бессмыслицей, глубина, совпавшая с поверхностью. Ее вызывает дальнейшее наращивание измерений зримости и слышимости (мира и вещей), когда доступным становится все, включая собственные, столь необходимые для жизни, фантазмы. (Действительно, разве не вызывает клонирование с его перспективой безудержного умножения Одного и Того Же ностальгию по Другому — и в первую очередь в самом себе? Скажем больше: этот Другой — двойник, тень, бессознательное, то есть отчужденный образ самого себя, который предстояло заново присвоить, — и был условием формирования личности, существовавшей до сих пор. Смерть окончательно изгоняется из жизни даже в этом символическом обличье.) Итак, когда же был известен «настоящий» соблазн? Бодрийяр сознательно не строит никакой генетической схемы. Лишь раз он говорит о переходе от ритуального к социальному и от последнего к… Но дальше следует серия вопросительных знаков, символизирующих бессмысленность любых прогнозов. Ясно, однако, что ритуальное, или церемониальное, предшествует социальности. Это способ организации так называемых примитивных обществ, основанных на символическом обмене. (Однако для кого примитивных? Разве нет в этом определении высокомерия культуры прогресса, культуры, не менее ограниченной во времени и по сфере своего (воз)действия, нежели те самые общества, которые она стремится встроить в собою же детерминированный эволюционный ряд?)

Мы понимаем, что символический обмен — иное взаимодействие людей, вещей и знаков по сравнению с известным нам сегодня. Всякая произвольность знака снимается взаимным обязательством — правилом, производным от конкретных ситуации и статуса. Можно сказать, что обязательство и есть знаковая референция, что правилом задаются как сами коммуниканты (вернее, партнеры), так и их отношение. Знаки в некотором смысле «связаны», но в этой связанности обратимы: дар оборачивается неэкономическим отдаром, обмен — жертвоприношением, жизнь — смертью, а время — циклической фигурой. Но все это — скорее проекция бодрийяровской «обратимости» ("реверсии") как ключевого понятия в общества прошлого: в книге мы не найдем развернутых данных касательно ритуальных сообществ. Лишь намек на такое их устройство, где нет ни прибыли, ни производства — «экономики», организованные по принципу растраты, общества, где время циркулирует, объединяя мертвых и живых (и с этими мертвыми приходится состоять в постоянном контакте, разом задабривая их и пугая, словом, соблазняя так, чтобы отвлечь от живущих). Повторяем: никакого этнографического материала, только аура иных присутствий, угадываемых в формализованных правилах игры (неважно, конкретной или обсуждаемой как самый механизм ритуала). Из чего напрашивается вывод: соблазн (ритуал) в своей чистой форме (если угодно — соблазн как таковой) интересен Бодрийяру не как явление истории. Да и какой, спросим мы себя, истории, когда первобытные общества — не столько начальный ее этап, сколько системы (за неимением лучшего слова), *рядоположенные* нашей собственной, существующие не «до» или «перед», а в измерении своеобразной параллельности, как раз и позволяющей задействовать их в качестве базовой объяснительной модели? Даже если Бодрийяр и внимателен к смене форм знакового обращения, в книге о соблазне его историзм как будто немного подавлен: он говорит преимущественно из сегодняшнего дня и о дне сегодняшнем. Ретроспективные наброски и близкие к антиутопии прогнозы — лишь щупальца, которыми обрастает тотальное в своей совершенности сегодня.

Прельщают видимости (apparences). Именно там, где отсутствует одно из измерений

реальности (как в обманке) и где одновременно создается ироническое ощущение ее переизбытка, по-прежнему господствует соблазн. Видимости генерируют эффект своеобразного коллапса восприятия: надвигаясь со всех сторон с головокружительной быстротой, опустошенные знаки (например, изображенные предметы) лишают субъект возможности удерживать их в привычном перспективном поле взгляда и интерпретации. Остается лишь тактильное ощущение вещей, нечто сродни галлюцинации, предшествующей представлению (в том числе и зрелищу) и упорядоченной деятельности сознания. Ощущение реальности всегда ирреально — ее нельзя застичь напрямую. Напрямую действует все то, что в конечном счете противостоит реальному: начиная с простой психической нейтрализации внешних воздействий, с вытеснения опыта как сиюминутного переживания (он будет возвращаться лишь потом, в искаженном виде образа или же симптома) и кончая концептуальным членением фрагментов действительности и самого восприятия. И даже если вслед за Бодрийяром усомниться во фрейдовской модели вытеснения, равно как в правоте психоанализа вообще, имеющего дело с тем, что подлежит разоблачению — выведению на поверхность, прояснению, а значит, подчинению строю истины, полагаемой в качестве конечной цели, — даже в этом случае преодоления бинарных оппозиций (сознание — бессознательное) приходится признать, что непосредственного доступа к реальности мы не имеем. Реальность может тенью промелькнуть в опустошенном знаке, и реальность эта — заключенный в нем соблазн. Вернее так: нет никакой иной реальности, кроме сугубо постановочной, и именно обманка своей реалистической избыточностью дает нам это недвусмысленно понять. (Впрочем, неверно говорить о реализме: то, что мы видим, находится по ту сторону эстетических норм. Обманка — не живопись, это неживописное в самом искусстве запечатлевать красками на холсте. Что же запечатлевается? Отнюдь не функциональные объекты, но какие-то предметы, пришпиленные к деревянной вечности — плоскому обездвиженному фону без всякой меры глубины. Обманка — то, что относится к *условию возможности* зримости, а не к изображению чего-то. Если обманка и выделяется в жанр, то этот жанр всегда проблематичен: живопись, единственным обоснованием которой является (оптический) обман.)

Бодрийяр, следовательно, заостряет выдвинутый нами тезис: реальность — лишь эффект реальности, производное от некоего уговора, это принцип, упорядочивающий наши отношения в мире и с миром. Можно ли в таком случае постулировать *реальность соблазна?* Реальность видимостей, игры, правила, иррациональных ставок, смертельного в своем исходе поединка? Реальность жертвенного отношения, отношения не экономии (психологической, эротической и т. п.), но траты, при котором рисунок действий соблазнителя — не что иное, как зеркальное отражение готовой обольститься жертвы? Можно ли наделять реальностью этот жертвенный пакт, объединяющий дуэлянтов, это следование ритуалу, отменяющее в своей основе закон (когда есть правило и следование таковому, вопрос о законе и его трансгрессии отпадает сам собой: внутри правила нет ни одной черты, которую можно было бы переступить, а соблюдение любого имманентного правила автоматически выводит за рамки запредельного сообществу закону)? Скажем сразу: такая реальность для нас маргинальна. Реальность соблазна не только потеснена и ограничена современным обществом (подчинение игры как таковой педагогическим целям; специальные места для азартных игр и еще более регламентированные — для общения трансвеститов), но сегодня и она неустанно переводится в *знаки,* в эдакий смягченный соблазн дигитальной, то есть состоящей из сигналов, субъективности. Холодный соблазн. Эта метафора (оксюморон?) возникает из противопоставления нынешних форм обольщения страсти, сопровождающей «высокий» соблазн. Вместо вызова — подключение к сетям, становление телеэкраном, уже не воспроизводящим (если допустить, что такое было), а порождающим события. Узнать что-либо из телепередач — не пережить явление заново либо впервые (пример: специальная программа о Холокосте), но предать его окончательному забвению, на сей раз эстетическому (ничего недосказанного, никакой вины, никакой исторической несправедливости — все разрешается в универсальности телесообщения).

Симуляционные потоки, замкнутые сами на себя. К этому следует прибавить и утрату тела в качества последнего прибежища соблазна: теперь усилиями новых технологий тело превращено в считываемый и воспроизводимый генетический код. (Клонирование: никаких мук прокреации, но и никакой игры случайности. Из единственной клетки — материнской ли, отцовской — получается идеальный двойник. Конец нарциссизма: Другой и есть я в собственном смысле этого слова.)

Мы сказали: реальность соблазна. Уточним: это та единственная реальность, которая и занимает Бодрийяра Говоря так, мы имеем в виду не столько сущее, или то, что наличествует «объективно», сколько способ преломления мира в сознании субъекта. Утверждая, что соблазн обволакивает реальность, никогда с ней не смешиваясь, что он создает своеобразную пустоту в сердце власти — но точно так же и производства, этого выведения на свет всего и вся, — разводя тем самым соблазн и истину, соблазн и необратимость смысла (смысл может быть только линейно наращиваемым), Бодрийяр, на наш взгляд, выступает уже не просто критиком социальной системы технотронного капитализма, но дает философский абрис некоей фундаментальной вписанности человека в мир, погребенной под позднейшими слоями познавательных рационализаций. Поэтому не будем множить реальности (есть еще и гиперреальность как отражение перцептивно-познавательной картины современности) и согласимся с тем, что соблазн, как он употребляется в одноименной работе, есть понятие временное лишь в том смысле, в каком оно может быть отнесено к самой *структуре субъективности.* Не более того. Что интересно в названной структуре, так это ей присущая безличность. Тонкий анализ киркегоровского "Дневника обольстителя" вскрывает соблазнение как некую "драматургию без субъекта", или же такое "ритуальное исполнение формы", когда "субъекты поглощаются без остатка". Отсюда — понятия вздуваемых ставок, состязательного поединка, или пакта, связывающего обольстителя и жертву (впрочем, последняя сама есть вызов — вызов обольстителю; включенная в сверхчувственный "жертвенный процесс", она требует от обольстителя только одного: чтобы он был *проводником* (оператором) этого смертельного процесса. Оба принадлежат не себе, но имманентному рисунку Ритуала.).

Часто та же идея преподносится как обратимость знаков. Обратимость знаков есть фигура полемическая по отношению к их «нормальному» культурно-лингвистическому функционированию: знаки полярны и в совокупности образуют упорядоченные коды. Трудно вообразить знаки подвешенные, "отпущенные на волю", освобожденные от служения интерпретации, — особенно это трудно сделать в обществе «сверхобозначения», в том непристойном, по определению Бодрийяра, обществе, где все без исключения переводится в "видимый и необходимый знак". Обратимость знаков — преодоление (хотя бы только мыслительное) "естественного порядка" вещей с его производством, враз значимых и значащих, объектов, удовольствий и желаний. Обратимость знаков — это, в частности, соблазн, возвращенный психоанализу (и взрывающий его тем самым), или это суггестивная сила анаграмм, так и пребывающих по сей день втуне (Бодрийяр напоминает, что в качестве наук и психоанализ и лингвистика зиждятся на «неудаче»: Фрейд отказывается от теоретической работы с соблазном, Соссюр — от своего первоначального увлечения анаграммами, этой неуправляемой глубиной языка). Словом, обратимость знаков есть момент затемненности и необеспеченности смысла, та самая смысловая недостаточность, а лучше сказать текучесть, открытость, которая и является конститутивной для субъекта. (Заметим: субъект не «порнографичен», порнографична познавательная установка, в соответствии с которой он полностью лишает(ся) «тайны». Иначе говоря невидимого, — в первую очередь в самом себе.)

Именно с этих позиций возможен разговор о женственности — первое, что без труда приходит в голову в связи с «материей» соблазна (Бодрийяр и начинает свое рассмотрение отсюда). Женское — уже не пол в качестве знакового образования (удвоение биологического знаками социального). Женское — то, что располагается по ту сторону любой выявляемой и в конечном счете субстантивируемой «женственности» — будь то вытесненной или

победившей. Попытка придать женскому «место», фактически утверждает Бодрийяр, есть его радикальная нейтрализация в терминах «мужских» — если угодно метафизических — оппозиций: даже торжествующая «женственность» в лице отдельных разновидностей феминизма, озабоченных сексуальным равноправием с акцентом на различие (женское желание и удовольствие) — не что иное, как подыгрывание все той же системе (производственной = естественной) функциональности, отдающей приоритет всеобщей *экономии* пола. В то время как само женское никогда не принадлежало дихотомии полов, не зависело от форм своего подчас уму непостижимого воплощения (да и что хорошего в том, что сегодня, к примеру, «феминизирована» вся область массового потребления: «женскими» качествами доступности, безотказности, непрерывной готовности к использованию автоматически наделяются многие из рекламируемых товаров?). Женское — "принцип неопределенности". Торжество видимостей. Природа соблазна. (Можно было бы так сказать, если бы не явная идиосинкразия Бодрийяра по отношению к природному как дополняющему производство.) Поэтому женское допустимо представить как своеобразную *матрицу субъективности.* (Matrice, matrix: матрица, штамп, но и матка — утвердительная многозначность, в свое время обыгранная Деррида.) Субъективность, о которой мы говорим, не является портретом, списанным с натуры, или набором качеств, позволяющих сконструировать некий обобщенный современный типаж. «Женское», намекает Бодрийяр, имеется в каждом; поскольку же это вовсе не проблема пола, но "вечная ирония общественности" (Гегель), то его можно считать «архаической» формой субъективности — даже «архесубъективности» (если подхватить деррридианский мотив, отсылающий к никогда не бывшему истоку), — когда сама эта форма, верная искусу соблазна, остается в некотором роде скрытой от глаз. Это то, что действительно не относится к порядку представления и что тем не менее любой порядок предопределяет — но не как детерминация, а как судьба. То, что позволяет мыслить *по-другому, в* том числе и субъективность, в ее потребности *и* невозможности совладать с самой собой. Обольщение собственным образом, самообольщение, как (инволюционное) погружение в смерть. Вхождение в конечное. Вот чем, по-видимому, так прельстительно «женское», так прельстителен соблазн.

Однако вопрос, поставленный нами в начале — относительно смыслопорождающих эффектов бодрийяровского письма — так и остался, похоже, открытым. Невольно для себя мы стали прочерчивать пути понимания — усилие, с необходимостью привносящее некий порядок извне. Между тем, и основные термины философа — видимости, (гипер) — реальность и др. — находятся в поле своеобразной смысловой обратимости: за ними не закреплена единственная и исчерпывающая ценность (за исключением разве что сугубо познавательной). Даже соблазн, при всех указаниях на возможную сферу применимости этого понятия, продолжает звучать чем-то вроде заклинания, метафорически выраженного предостережения не доверять — собственному пониманию. А это означает: все время отсрочивать момент «присвоения» соблазна, в том числе и как «теории», отодвигать этот невидимый и неосязаемый рубеж, превращая его в горизонт еще не состоявшейся интерпретации. И все же мы смеем надеяться, что траектории, намеченные нами, не столько самостийны, сколько во многом производны от тематических и терминологических колебаний текста, от ощущения соприкосновения с тем, что плохо поддается называнию — даже если эта фигура, этот контур "субъекта без субъекта" и обозначен с самого начала как "соблазн".

Соблазн

Неизбывная судьба отягчает соблазн. Религии он представлялся дьявольским ухищрением с колдовскими либо приворотными целями. Соблазн — это всегда соблазн зла. Или мира. Мирской *искус.* И это проклятие, наложенное на соблазн религией, без изменений воспринимается моралью и философией, а ныне подхватывается психоанализом и дискурсом "освобождаемого желания". Может показаться парадоксальным, что сегодня, когда так

вырос спрос на секс, на зло, на перверсию, когда все некогда проклятое справляет возрождение, часто так или иначе запрограммированное, соблазн все-таки по-прежнему остается в тени, а то и вовсе окутывается мраком.

Ведь в XVIII веке о нем еще говорили. И не просто говорили: вызов, честь, соблазн — все это в аристократической культуре вызывало самую жгучую заинтересованность. Буржуазная Революция кладет этому конец (последующие революции покончили с этим бесповоротно — любая революция первым делом кладет конец соблазну видимостей). Буржуазная эпоха всецело предана природе и производству, а эти вещи весьма чужды или даже определенно смертельны для соблазна. Поскольку же и сексуальность, как говорит Фуко, вырастает из процесса производства (дискурса, речи и желания), то ничего удивительного, что соблазн был еще больше оттеснен ею в тень. Вечно нам подсовывают эту природу — то, бывало, добрую природу души, то доброе естество материальных вещей, а то еще психическую природу желания, — природа добивается своего безоговорочного исполнения через все мыслимые метаморфозы вытесненного, через освобождение всех мыслимых энергий — психических, социальных, материальных.

Но соблазн никогда не вписывается в природный или энергетический строй — он всегда относится к строю искусственности, строю знака и ритуала. Вот почему все крупнейшие системы производства и толкования неизменно исключали его из своего концептуального поля — к счастью для соблазна, поскольку именно извне, из этой глубокой заброшенности он продолжает их преследовать, угрожая низвергнуть. Соблазн всегда подстерегает случай разрушить божественный строй, пусть даже и трансформированный в строй производства и желания. Для всех ортодоксий соблазн продолжает быть пагубным ухищрением, черной магией совращения и порчи всех истин, заклятием и экзальтацией знаков в злокозненном их употреблении. Всякому дискурсу угрожает эта внезапная обратимость или поглощение в собственных знаках, не оставляющее и следа смысла. Вот почему все дисциплины, в качестве аксиомы полагающие связность и целесообразность своих дискурсов, могут лишь гнать и заклинать соблазн. Вот где сходятся соблазн и женственность, вот где они всегда смешивались. Потому что любую мужественность всегда преследовала эта угроза внезапной обратимости в женственное. Соблазн и женственность неизбежны — ведь это оборотная сторона пола, смысла, власти.

Сегодня экзорцизм соблазна становится еще более ожесточенным и систематическим. Мы вступаем в эпоху окончательных решений — сексуальная революция, производство, контроль и учет всех лиминальных и сублиминальных наслаждений, микропроцессорная обработка желания, чьим последним аватаром предстает женщина — производительница себя самой как женщины и как пола. Конец соблазна.

Или торжество соблазна *мягкого* — бесцветная, рассеянная феминизация и эротизация всех отношений внутри размякшей социальной вселенной.

Или же ни то, ни другое. Потому что ничто не превзойдет соблазн — даже тот строй, который его уничтожает.

I. Эклиптика пола

Нет сегодня менее надежной вещи, чем пол — при всей раскрепощенности сексуального дискурса. Вопреки буйной пролиферации фигур желания — нет сегодня ничего менее надежного, чем желание.

Что до пола, то и здесь пролиферация близка к полному распылению. Вот в чем секрет этой эскалации производства пола, знаков пола, вот откуда этот гиперреализм наслаждения, особенно женского: захватив политическую и экономическую рациональность, принцип неопределенности распространился и на рациональность сексуальную.

Стадия освобождения пола есть также стадия его индетерминации. Нет больше никакой нехватки, никаких запретов, никаких ограничений: утрата всякого референциального принципа. Экономическая рациональность держится лишь за счет

нищеты, она улетучивается с осуществлением своей цели, как раз и состоящей в ликвидации даже призрака нищеты. Желание тоже держится только благодаря нехватке. Когда же оно всецело переходит в запрос, безоговорочно операционализируется, желание утрачивает реальность, поскольку лишается воображаемого измерения, оно оказывается повсюду — но лишь в качестве обобщенной симуляции. Этот-то призрак желания и обретается в почившей реальности пола. Секс повсюду — только не в сексуальности (Барт).

Перемещение центра тяжести сексуальной мифологии на женское совпадает с переходом от детерминации к общей индетерминации. Женское замещает мужское, но это не значит, что один пол занимает место другого по логике структурной инверсии. Замещение женским означает конец определимого представления пола, перевод во взвешенное состояние закона полового различия. Превознесение женского корреспондирует с апогеем полового наслаждения и катастрофой принципа реальности пола.

И женственность пылает в этом смертоносном вихре гиперреальности пола, как некогда, но совсем иначе, горела она в иронии и соблазне.

Прав Фрейд: существует только одна сексуальность, только одно либидо — мужское. Сексуальность есть эта жесткая, дискриминантная структура, сконцентрированная на фаллосе, кастрации, имени отца, вытеснении. Другой просто не существует. Без толку пытаться вообразить нефаллическую сексуальность, без перегородок и демаркаций. Без толку пытаться в этой структуре перетащить женское по другую сторону черты, перемешать термины оппозиции — структура либо остается прежней: все женское абсорбируется мужским; либо просто разваливается, и нет больше ни женского, ни мужского: нулевая ступень структуры. Именно это, кажется, и происходит сегодня, причем все сразу: эротическая поливалентность, бесконечная потенциальность желания, подключения, преломления и напряжения либидо — все эти многочисленные варианты одной освободительной альтернативы, явившейся из пределов психоанализа, освобожденного от Фрейда, или же из пределов желания, освобожденного от психоанализа, все они за внешним накалом и кипением сексуальной парадигмы смыкаются в направлении индифференциации структуры и ее потенциальной нейтрализации.

Для того, что зовется женским, ловушка сексуальной революции состоит в том, что оно запирается в этой единственной структуре, где обречено либо на негативную дискриминацию, когда структура крепка, либо на смехотворный триумф, когда структура ослаблена.

Однако на самом деле женское вне этой структуры, и так было всегда: в этом секрет силы женского. Подобно тому как о вещи говорится, что она длится, поскольку ее существование неадекватно ее сущности, так же о женском следует сказать, что оно соблазняет, поскольку никогда не оказывается там, где мыслится. Нет его, стало быть, и в той истории страданий и притеснений, которую о нем распространяют: историческая голгофа женщин — только маска, под которой ловко прячется женское. Маска рабской зависимости. Но к этой уловке женское вынуждается лишь в той самой структуре, где его определяют и вытесняют, где сексуальная революция определяет и вытесняет его еще более драматично — но что за странная аберрация как нарочно (нарочно для кого? понятно, что для мужского) заставляет нас верить, что здесь-то и разворачивается вся история женского? Вот оно, вытеснение, уже в полном объеме присутствующее *в рассказе о* сексуальной и политической нищете женского, оставляя за скобками любой иной способ проявления силы и суверенности.

Но есть альтернатива сексу и власти, о которой психоанализ ничего не может знать, потому что его аксиоматика носит сексуальный характер, и нет сомнений, что альтернатива эта действительно относится к строю женского, понятого уже за рамками оппозиции мужское/ женское — мужской по существу, сексуальной по назначению, не допускающей ни малейшего нарушения, поскольку в таком случае она просто прекращает свое существование.

И эта сила женского есть сила соблазна.

Упадок психоанализа и сексуальности как жестких структур, их измельчание в психомолекулярной вселенной (где, кстати, и происходит их окончательное освобождение) позволяет нам разглядеть иную вселенную (параллельную первой в том смысле, что они нигде не пересекаются), которая истолковывается уже не в терминах психических и психологических отношений, не в терминах вытеснения или бессознательного, но в терминах игры, вызова, агонистических дуальных отношений и стратегии видимостей: в терминах обольщения и соблазнительной обратимости взамен структуры и различительных оппозиций, — вселенную, в которой женское уже не противостоит мужскому, но *соблазняет* его.

В стихии соблазна женское перестает быть маркированным либо немаркированным термином. Оно не подразумевает «автономии» желания или наслаждения, автономии тела, речи или письма, которую оно будто бы утратило (?), не взыскует своей истины, но — соблазняет.

Конечно, эта суверенность соблазна может называться женской лишь с той же долей условности, с какой сексуальность изображается в основе своей мужской, но суть в том, что форма эта существовала всегда — обрисовывая, где-то по краям, женское как нечто такое, что не является ничем, никогда не «производится», никогда не оказывается там, где выводится (и уж наверняка отсутствует в разного рода «феминистских» потугах), — причем в перспективе не какой-то там *бисексуальности,* психической или биологической, но *транссексуальности соблазна,* которую стремится подавить вся сексуальная организация, да и собственно психоанализ, чья исходная аксиома (нет иной структуры, кроме структуры сексуальности) делает его врожденно неспособным говорить о чем-либо еще.

Что противопоставляют женщины в своем движении протеста фаллократической структуре? Автономию, различие, специфику желания и наслаждения, иное пользование своим телом, речь, письмо — *никогда соблазн.* Они его стыдятся, считая искусственной инсценировкой своего тела, судьбой, сплетенной из подчиненности и продажности. Они не понимают, что *соблазн представляет господство над символической вселенной, тогда как власть — всего лишь господство над реальной.* Суверенность соблазна несоизмерима с обладанием политической или сексуальной властью.

Странный и лютый сговор феминистского движения со строем истины. Ведь соблазну дается бой, он отвергается как искусственное отклонение от истины женщины — истины, которая в последней инстанции должна-таки быть обнаружена вписанной в ее тело и ее желание. А это все равно, что одним махом перечеркнуть огромное преимущество женского, которое в том и заключается, что женское никогда, в известном смысле, даже не подступалось к истине, оставляя за собой абсолютное господство над царством видимостей. Имманентная сила соблазна: все и вся отторгнуть от своей истины и вернуть в игру, в чистую игру видимостей, и в ней моментально переиграть и опрокинуть все системы смысла и власти: раскрутить волчком видимости, разыграть тело как видимость, отняв у него глубину желания, — ведь все видимости обратимы — лишь на этом уровне системы хрупки и уязвимы — смысл уязвим только для колдовства. Только невероятное ослепление побуждает отрицать эту силу, равную всем прочим и даже превосходящую их все, поскольку она опрокидывает их простой игрой *стратегии видимостей.*

Анатомия — это судьба: так говорил Фрейд. Можно только недоумевать, что отказ женского движения от этой судьбы, фаллической по определению и скрепленной печатью анатомии, открывает альтернативу, которая по-прежнему остается чисто анатомической и биологической.

> "Женское удовольствие не связано с выбором между клиторальной активностью и вагинальной пассивностью. Удовольствие от ласки влагалища вовсе не должно заменять удовольствие от ласки клитора. Оба незаменимы, и оба сходятся к общей вершине женского оргазма… Среди прочего ласка груди, поглаживание лобка, приоткрытие губ, маятниковое надавливание на заднюю стенку влагалища, касание шейки матки и т. д., если упомянуть лишь некоторые из

специфически женских удовольствий"

Люс Иригарэ

Женская речь? Но это по-прежнему анатомическая речь, все та же речь тела. Женская специфика оказывается в дифракции эрогенных зон, в децентрированной эрогенности, рассеянной поливалентности оргазма и преображении всего тела желанием — таков лейтмотив, пронизывающий не только всю сексуальную и женскую революцию, но и всю нашу культуру тела, от анаграмм Бельмера до машинных подключений Делёза. Всегда речь идет о теле, если не анатомическом, то по крайней мере органическом и эрогенном, о функциональном теле, которое даже в этой распыленной и метафорической форме имеет своим назначением оргазм, а естественной манифестацией — желание. Одно из двух: либо тело, о котором тут говорится, всего лишь метафора (но о чем же тогда толкуют сексуальная революция и вся наша культура, давно ставшая культурой тела?), либо эта речь тела, эта речь женщины означает, что мы окончательно захвачены анатомической судьбой, анатомией как судьбой. Никакого радикального противоречия фрейдовской формуле во всем этом.

И нигде не слышно о соблазне, об обработке тела не желанием, но лукавством, о теле соблазненном, теле соблазняемом, отеле, страстно отрываемом от своей истины, той этической истины желания, что неотступно нас преследует, истины серьезной и глубоко религиозной, которую воплощает сегодня тело и для которой, как прежде для религии, соблазн точно такие же порча и коварство, — нигде не слышно о теле, предавшемся видимостям.

Но *только соблазн радикально противостоит анатомии как судьбе.* Только соблазн разбивает различительную сексуализацию тел и вытекающую отсюда неизбежную фаллическую экономию.

Наивно любое движение, верящее в возможность подрыва системы через ее базис. Соблазн являет большую ловкость, являет как бы спонтанно и с ослепительной очевидностью — ему нет нужды доказывать и показывать себя, нет нужды себя обосновывать — он сказывается непосредственно, в переворачивании всякой мнимой глубины реального, всякой психологии, всякой анатомии, всякой истины, всякой власти. Соблазну известно, и в этом его тайна, что *никакой анатомии нет,* нет никакой психологии, что все знаки обратимы. Ему не принадлежит ничего, кроме видимостей — от него ускользают все формы власти, но он способен *обратить все* ее знаки. Что может противостоять соблазну? Вот где единственная подлинная ставка в этой игре: контроль и стратегия видимостей против силы бытия и реальности. Бесполезно пытаться разыграть бытие против бытия, истину против истины — все это ловушка подрыва основ, — но, оказывается, достаточно *легкой* манипуляции видимостями.

А что такое женщина, если не видимость? Именно как видимость женское поражает глубину мужского. И чем восставать против такой «оскорбительной» формулировки, женщинам следовало бы дать себя соблазнить этой истиной, потому что именно здесь секрет их силы — силы, которую они теряют, выставляя против глубины мужского глубину женского.

Точнее, мужскому как глубине противостоит даже не женское как поверхность, но женское как неразличимость поверхности и глубины. Или как неразличенность подлинного и поддельного. "Женственность как маскарад" Жоан Ривьер *(La Psychanalyse,* № 7) как раз об этом — весь соблазн в одном фундаментальном положении: "Подлинна женщина или поверхностна — по сути дела, это одно и то же".

Такое можно сказать только о женском. Мужское знает надежный способ различения и абсолютный критерий истинности. Мужское определенно, женское неразрешимо.

И это положение, согласно которому в женском лишается основания само различие между подлинным и искусственным, странным образом совпадает с формулой, определяющей пространство симуляции: здесь также невозможно провести различие между реальным и моделями, нет никакой иной реальности, кроме той, что секретируется

симуляционными моделями, как нет никакой иной женственности, кроме женственности видимостей. Симуляция тоже неразрешима.

Странное совпадение, намек на двусмысленность женского: это и радикальная констатация симуляции, и одновременно единственная возможность выйти за пределы симуляции — именно в сферу соблазна.

Вечная ирония общественности

Женственность, вечная ирония общественности.
Гегель

Женственность как принцип неопределенности.

Она расшатывает половые полюса. Женственность не просто полюс, противостоящий мужскому, она то, что вообще упраздняет различимую оппозицию, а значит, и саму сексуальность, какой она исторически воплотилась в мужской фаллократии, а завтра может воплотиться в фаплократии женской.

И если женственность предстает принципом неопределенности, то наибольшей неопределенность окажется там, где она сама неопределенна, — в игре женственности.

Трансвестизм. Не гомосексуализм и не транссексуализм: игра половой неразличимости — вот на что западают травести. Источник их обаяния, действующего и на них самих, в шаткости пола, в половом колебании вместо привычного влечения одного пола к другому. Они не любят, по правде, ни мужчин/мужчин, ни женщин/ женщин, ни вообще кого бы то ни было, кто избыточно определяет себя как существо с четко различимым полом. Для наличия пола необходимо, чтобы знаки удваивали биологическое существо. Здесь же знаки от него отделяются — значит, пола, собственно говоря, уже нет, и травести влюблены как раз в эту игру знаков, их зажигает перспектива *обольщения самих знаков.* Все в них — грим, театральность, соблазн. Мы видим их одержимость сексуальными играми, но одержимы они в первую очередь игрой как таковой, и если жизнь их кажется более сексуально заряженной, чем наша, это оттого, что пол они обращают в тотальную игру, жестовую, чувственную, ритуальную, в экзальтированное, но в то же время ироническое заклинание.

Что сталось бы с красотой Нико, если б не эта ее от начала до конца наигранная женственность? По правде, она излучала нечто большее, чем красоту, нечто более возвышенное, какой-то иной соблазн. И разочарованием было узнать, что она вроде как лжетравести, настоящая женщина, косящая под травести. Все дело в том, что настоящая женщина, заранее удостоверенная своим полом, имеет меньше шансов довести соблазн до предела, чем обращающаяся в стихии знаков женщина/ неженщина — лишь та способна обворожить беспримесной завороженностью, поскольку чары ее больше соблазнительны, чем сексуальны. Завороженность, которая теряется, когда проглядывает реальный пол, — в чем, конечно, иное желание может найти для себя выгоду, но никогда уже не найдет того совершенства, которое дается только искусственностью.

Соблазн всегда особенней и возвышенней секса, и превыше всего мы ценим именно соблазн.

Не нужно искать корни трансвестизма в бисексуальности. Ведь оба пола и половые характеры, пусть даже смешанные или амбивалентные, неопределенные или интервертированные, остаются при всем при том реальными, они все еще свидетельствуют о психической реальности пола. Здесь же затмевается само определение сексуального. И эта игра не извращение. Извращенец тот, кто извращает порядок терминов. А здесь нет больше терминов, которые можно было бы извратить, — лишь знаки, которые надо совратить.

Не нужно искать эти корни и в бессознательном, в так называемой "латентной гомосексуальности". Все это старая казуистика латентности, сама порожденная *сексуальным* воображаемым, которое противопоставляет поверхность и глубину, всегда предполагая необходимость симптомного прочтения и исправления смысла. *Здесь нет ничего*

латентного, все здесь во весь голос изобличает саму гипотезу о какой-то тайной и определяющей инстанции пола, гипотезу о глубинной игре фантазмов, управляющей якобы поверхностной игрой знаков: все разыгрывается в умопомрачительном ритме этой реверсии, *этого пресуществления пола в знаки, в котором тайна всякого соблазна.*

Возможно, даже сила соблазна, облекающая травести, прямо обусловлена пародированием пола: сверхобозначенный пол всегда пародия на самое себя. Так что проституция травести имеет несколько иной смысл, чем обычная женская. Она ближе к священной проституции древних (или к священному статусу гермафродитизма). Грим и театральность используются здесь для пародийного и ритуального парадирования полом, подлинное наслаждение которым отсутствует и даже не предвидится.

Соблазн как таковой удваивается здесь пародией, в которой просматривается достаточно беспощадная по отношению к женскому свирепость, — пародией, которая может быть истолкована как аннексия мужчиной всего принадлежащего женщине арсенала средств обольщения. В таком случае транвестизм воспроизводит философию первобытного воина: только воин может быть обольстительным, женщина — пустое место (как бы намек на фашизм, и его сродство с трансвестизмом). Но, возможно, это не столько суммирование полов, сколько сведение их к нулю? И не аннулирует ли мужское этой пародией на женственность свои статус и прерогативы, чтобы сделаться в результате не более чем контрапунктным элементом какой-то ритуальной игры?

В любом случае, эта пародия на женское не так уж свирепа, как о ней думают, поскольку изображает женственность, *какой она рисуется воображению мужчин,* какой она предстает в их фантазиях, т. е. женственность превышенную, приниженную, пародийную (барселонские травести не бреют усов и выставляют напоказ волосатую грудь), она открыто свидетельствует о том, что в этом обществе женственность не более чем знаки, в которые обряжают ее мужчины. Пересимулировать женственность — это объявить, что женщина всего лишь мужская симуляционная модель. *Модели* женщины бросается вызов через *игру* женщины, вызов женщине/женщине от женщины/знака, и вполне возможно, что это живое симуляционное изобличение, играющее на грани искусственности, обыгрывающее механизмы женственности и в то же время переигрывающее их, доводя до совершенства, окажется более трезвым и радикальным, нежели все идейно-политические претензии "отчужденной в своей сущности" женственности. Эта игра показывает, что нет у женщины никакой собственной сущности (природы, письма, оргазма, никакого особого либидо, как отмечал уже Фрейд). Она показывает, наперекор всем поискам аутентичной женственности, речи женщины и т. п., что женщина — ничто и что как раз в этом ее сила.

Этот ответ, конечно, тоньше выставляемого феминизмом лобового опровержения теории кастрации. Ведь теория эта сталкивается с неизбежностью уже не анатомического, но символического порядка, тяготеющей над всякой виртуальной сексуальностью. Следовательно, опрокинуть этот закон можно только путем его *пародийного разрешения,* при помощи эксцентрирования знаков женственности, такого удвоения знаков, которое кладет конец всякой неразрешимой биологии или метафизике полов — грим как раз это и есть: триумфальная пародия, разрешение в избыточности, в поверхностной гиперсимуляции той глубинной симуляции, каковой является сам символический закон кастрации — транссексуальная игра соблазна.

Ирония ухищрений искусственности — сила накрашенной или продающей себя женщины, умеющей заострить черты настолько, чтобы сделать их больше, чем знаком, тем самым — не ложью, противопоставленной истине, но чем-то более лживым, нежели ложь, — делаясь вершиной сексуальности, но в то же время полностью растворяясь в симуляции. Ирония превращения женщины в кумира или сексуальный объект, в силу чего она, в своем замкнутом совершенстве, кладет конец сексуальной игре и отсылает мужчину, господина и повелителя сексуальной *реальности,* к своей прозрачности *воображаемого* субъекта. Ироническая сила объекта, которую женщина теряет, наделяясь статусом субъекта.

Всякая мужская сила есть сила производства. Все, что производится, пусть даже

женщина, производящая себя как женщину, попадает в регистр мужской силы. Единственная, но неотразимая, сила женственности — обратная сила соблазна. Сама по себе она ничто, ничем особенным не отличается — кроме своей способности аннулировать силу производства. Но аннулирует она ее всегда.

А существовала ли вообще когда-либо фаллократия? Не может такого быть, что вся эта история о патриархальном господстве, фаллической власти, исконной привилегированности мужского просто лапша на уши? Начиная с обмена женщинами в первобытных обществах, идиотски толкуемого как первая стадия в истории женщины-объекта? Все россказни, которые мы на этот счет слышим, универсальный дискурс о неравенстве полов, этот лейтмотив эгалитаристской и революционной современности, в наши дни усиленный всей энергией *осекшейся* революции, — все это одна гигантская нелепость. Вполне допустима и в каком-то смысле более интересна обратная гипотеза — что женское никогда и не было закрепощенным, а напротив, всегда само господствовало. Женское не как пол, но именно как трансверсальная форма любого пола и любой власти, как тайная и вирулентная форма бесполости. Как вызов, опустошительные последствия которого ощутимы сегодня на всем пространстве сексуальности, — не этот ли вызов, который не что иное, как вызов соблазна, торжествовал во все времена?

С этой точки зрения оказывается, что мужское всегда было только остаточным, вторичным и хрупким образованием, которое надлежало оборонять посредством всевозможных укреплений, учреждений, ухищрений. Фаллическая твердыня действительно являет все признаки крепости, иначе говоря слабости. Только бастион явной сексуальности, целесообразности секса, исчерпывающегося воспроизводством и оргазмом, спасает ее от падения.

Можно высказать гипотезу, что женское вообще единственный пол, а мужское существует лишь благодаря сверхчеловеческому усилию в попытке оторваться от него. Стоит мужчине хоть на миг зазеваться — и он вновь отброшен к женскому. Тогда уже женское определенно привилегируется, а мужское выставляется определенно ущербным — и становится ясней ясного вся смехотворность стремления «освободить» одно, чтобы предоставить ему доступ к столь хрупкой «власти» другого, к этому в высшей степени эксцентричному, парадоксальному, параноидальному и скучному состоянию, которое зовется мужественностью.

Сексуальная сказка-перевертыш фаллической сказки, где женщина выводилась из мужчины путем вычитания, — здесь уже мужчина выводится из женщины путем исключения. Сказка, которую нетрудно подкрепить хотя бы тем, что говорится в "Символических ранах" Беттельгейма: свою власть и свои институты мужчины установили с одной только целью — противодействовать изначальному могуществу и превосходству женщины. Движущей силой предстает здесь уже не зависть к пенису, а, напротив, зависть мужчины к женскому плодородию. Эта привилегия женщины неискупима, надлежало любой ценой изобрести какой-то отличный — мужской — социальный, политический, экономический строй, в котором эта естественная привилегия была бы умалена и принижена. В ритуальном строе присвоение знаков противоположного пола широко практикуется именно мужчинами: нанесение шрамов, увечий, имитация женских половых органов и беременности *(кува-да)* и т. п.

Все это настолько убедительно, насколько только может быть убедительна парадоксальная гипотеза (такая гипотеза всегда интереснее общепринятой), но на самом деле она просто меняет местами термины оппозиции, превращает уже женское в изначальную субстанцию, своего рода антропологический базис, выворачивает наизнанку анатомическую детерминацию, но по сути оставляет ее в неприкосновенности, как судьбу, — и вновь теряется вся "ирония женственности".

Ирония теряется, как только женское институируется как пол, даже — и особенно — тогда, когда делается это с целью изобличить его угнетение. Извечная ловушка просвещенческого гуманизма, нацеленного на освобождение порабощенного пола,

порабощенных рас, порабощенных классов, но мыслящего это освобождение не иначе как в терминах самого их рабства. Это чтобы женское стало полноправным полом? Нелепость, коль скоро оно не полагается ни в терминах пола, ни в терминах власти.

И женское как раз не вписывается ни в строй эквивалентности, ни в строй стоимости: потому-то оно неразрешимо во власти. Его даже подрывным не назовешь — потому что оно обратимо. Власть же, напротив, оказывается разрешимой в обратимости женского. И если, таким образом, «факты» нашего знания не дают решения вопроса, что из двух, мужское или женское, господствовало над другим на протяжении веков (еще раз отметим: тезис об угнетении женского основан на карикатурном фаллократическом мифе), то, наоборот, совершенно ясно, что и в сфере сексуальности обратимая форма одерживает верх над линейной формой. Исключенная форма втайне берет верх над господствующей. Соблазнительная форма торжествует над производственной.

В этом контексте женственность соседствует с безумием. Безумие тоже втайне торжествует — и потому подлежит нормализации (спасибо гипотезе о бессознательном, среди всего прочего). Женственность втайне торжествует — и потому подлежит рециркуляции и нормализации (особенно в плане сексуального освобождения).

И наслаждения.

Одно из часто приводимых свидетельств угнетения женщин — лишения, которые они претерпевают в плане сексуального наслаждения, неадекватность их наслаждения. Какая вопиющая несправедливость! Каждому надлежит поднапрячься и незамедлительно возместить убытки по схеме сексуального марафона или гонки на выживание. Наслаждение приняло облик насущной потребности и фундаментального права. Младшее в семействе человеческих прав, оно быстро обрело достоинство категорического императива. Перечить ему безнравственно. Но оно лишено даже обаяния кантовских бесцельных целесообразностей. Оно навязывается под видом учета и менеджмента желания, контроля и самоконтроля, который никто не вправе игнорировать, точно так же как и закон.

Это означает закрывать глаза на то, что и наслаждение обратимо, т. е. отсутствие или отказ от оргазма может подарить высшую интенсивность. Как раз здесь, когда сексуальная цель снова обретает алеаторный характер, и возникает нечто такое, что может быть названо соблазном или удовольствием. С другой стороцы, само наслаждение может оказаться лишь предлогом для иной, более захватывающей, более страстной игры — так в "Империи чувств", где цель, а точнее *ставка* любов-ной игры — не столько оргазм, сколько достижение его предела и запредельности по ту сторону наслаждения, вызов, который забивает чистый процесс желания, потому что логика его умопомрачительней, потому что он страсть, а противник — всего лишь влечение.

Но это же умопомрачение может разыгрываться и при *отказе* от наслаждения. Кто знает, что скрывается за «обделенностью» женщин — не играли на праве сексуальной сдержанности, которым они во все времена с успехом пользовались, парадируя своей неудовлетворенностью, бросая вызов мужскому наслаждению как *всего лишь* наслаждению? Никто не знает, каких разрушительных глубин может достигать эта провокационная стратегия, какое в ней скрыто могущество. Мужчина так и не вырвался из этой ловушки, оставленный наслаждаться в одиночку, ограниченный простым суммированием своих удовольствий и побед.

Кто одержал верх в этой игре со столь непохожими стратегиями? На первый взгляд по всей линии противостояния торжествует мужчина. Но на самом деле нет уверенности, что он не потерялся и не увяз на этой зыбкой почве, как и на поле битвы за власть, обратившись в странное бегство *вперед,* когда уже никакое механическое накопление, никакой расчет не гарантируют ему спасения, не избавляют от затаенного отчаяния по тому, что все время от него ускользает. С этим надо было кончать — женщины обязаны кончать. Так или иначе, их требовалось освободить и заставить получать наслаждение — положив конец этому невыносимому вызову, который в конечном счете аннулирует наслаждение всегда возможной стратегией ненаслаждения. Ведь у наслаждения нет стратегии — это просто

энергия, текущая к своей цели. Наслаждение, таким образом, ниже стратегии — конкретная стратегия может использовать его как материал, а само желание — как тактический элемент. Это центральная тема либертеновской сексуальности XVIII века, от Лаклодо Казановы и Сада (включая сюда и Киркегора, каким он предстает в "Дневнике обольстителя"): для всех них сексуальность все еще церемониал, ритуал, стратегия — перед тем как Права Человека и психология похоронят ее в откровенной истине секса.

Так наступает эра контрацепции и прописного оргазма. Конец права на сексуальную сдержанность. Надо думать, женщины осознали, что у них отнимают нечто действительно существенное, раз они с таким упорством стали сопротивляться «рациональному» употреблению таблеток, находя тысячу извинений для своей «забывчивости». Такое же сопротивление, какое поколениями оказывалось образованию, медицине, безопасности, труду. Такое же глубокое предчувствие опустошений, которыми грозят ничем не сдерживаемые свобода, слово, наслаждение: вызов, иной вызов, больше невозможен, всякая символическая логика искореняется, уступая шантажу перманентной эрекции (без учета тенденции к понижению процентных ставок самого наслаждения?).

"Традиционной" женщине ни вытеснением, ни запретом в наслаждении не отказывалось: она целиком соответствовала своему статусу, вовсе не была закрепощенной или пассивной и не мечтала из-под палки о своем грядущем «освобождении». Это только добрым душам женщина видится в ретроспективе извечно отчужденной — а затем обретающей свободу для своего желания. И в этом видении чувствуется глубокое презрение — такое же, какое выказывается в отношении «отчужденных» масс, которые никогда, дескать, не способны были стать чем-то большим, нежели замороченным, «мистифицированным» стадом.

Как просто нарисовать картину векового отчуждения женщины, распахнув перед ней сегодня, под благотворными знаменьями революции и психоанализа, врата желания. Так просто, так неприлично просто — но что это, как не проявление сексизма и расизма: оскорбительное сострадание?

К счастью, женское никогда не соответствовало подобной картине. Оно всегда имело собственную стратегию, неуемную и победоносную стратегию вызова (одна из высших форм которого — обольщение). Что толку слезно сожалеть об ущербе, нанесенном женскому, и стремиться его возместить? Что толку играть в заступников слабого пола? Что толку все откладывать в ипотеку освобождения и желания, чей секрет открылся-таки в XX веке? Игры всегда, в любой момент истории, разыгрываются сразу целиком, с выкладыванием всех карт и всех козырей. И в этой игре мужчины не выиграли, совсем нет. Скорее, это женщины вот-вот проиграют в ней сегодня, как раз под знаком наслаждения — но это уже другая история.

Это современная история женского в культуре тотального производства, в культуре тотальной речи, наслаждения, дискурса. Раскрутка женского как автономного пола (равные права, равное наслаждение), женского как стоимости — ценой женского как принципа неопределенности. Все сексуальное освобождение сводится к этой стратегии навязывания женского права, женского статуса, женского наслаждения. Передержка и постановка женского как секса, оргазма — как размноженного доказательства секса.

Об этом ясно свидетельствует порнография. Агрессивная реклама кончающей женственности в порнотри-логии зияния, оргазма и значности — лишь средство как можно надежнее схоронить неопределенность, витавшую некогда над этим "черным континентом". Кончилась "вечная ирония женского", о которой говорил Гегель. Отныне женщина будет кончать и знать — почему. Женственность станет видна насквозь — женщина как эмблема оргазма, оргазм как эмблема сексуальности. Никакой неопределенности, никакой тайны. Торжество радикальной непристойности.

"Сало, или 120 дней Содома" Пазолини — подлинные сумерки соблазна: неумолимая логика стирает здесь последние следы обратимости. Все тут необратимо мужественно и мертво. Исчез даже тайный сговор, промискуитет палачей и жертв истязаний: осталась абсолютно бездушная пытка, бесстрастное злодейство, холодная механика истязания (и

тогда, надо думать, наслаждение не что иное, как промышленная эксплуатация тел, и противоположно какому бы то ни было соблазну: наслаждение как добываемый продукт, продукт машинерии тел, логистики удовольствий, устремленной прямиком к цели, к уже мертвому объекту).

Фильм иллюстрирует ту истину, что в господствующей мужской системе, во всякой господствующей системе (которой признак господства автоматически сообщает и мужественность) именно женственность воплощает собой обратимость, возможность игры и символической импликации. «Сало» рисует вселенную, где без остатка вытравлен тот минимум соблазна, что составляет смысл — ставку — не только секса, но и всякого вообще отношения, включая сюда смерть и обмен смертью (как и у Сада, в «Сало» это выражается гегемонией содомии). Тут-то и обнаруживается, что женское — не просто один из противостоящих друг другу полов, но нечто такое, что придает полу, за которым удерживается половая монополия (мужскому — полноправному и вполне себя реализующему), неуловимый налет чего-то радикально иного. *Очарованная* и чарующая форма этого призрачного нечто — соблазн, *разочарованная* — пол. Соблазн — игра, пол — функция. Соблазн принадлежит к ритуальному строю, пол и желание — к природному. Столкновением этих двух фундаментальных форм и объясняется борьба женского и мужского, а вовсе не биологическим различием или наивным соперничеством в погоне за властью.

Женское — не только соблазн, это и вызов, бросаемый мужскому, ставящий под вопрос существование мужского как пола, его монополию на пол и наслаждение, его способность пойти до конца и отстаивать свою гегемонию насмерть. Вся сексуальная история нашей культуры отмечена неослабевающим давлением этого вызова: не находя в себе сил принять его, и терпит сегодня крах фаллократия. Наверно, и вся наша концепция сексуальности рушится вместе с нею, поскольку она была выстроена вокруг фаллической функции и позитивной дефиниции пола. Всякая *позитивная* форма запросто приноравливается к своей *негативной* форме, но встречает смертельный вызов со стороны *обратимой* формы. Всякая структура приспосабливается к инверсии или субверсии своих терминов — но не к их реверсии. И эта обратимая форма есть форма соблазна.

Это не тот соблазн, с которым в исторической перспективе ассоциируются женщины, культура гинекея, косметики и кружев, не соблазн в редакции теорий зеркальной стадии и женского воображаемого, пространства сексуальных игр и ухищрений (хотя именно здесь сохраняется единственный ритуал тела, еще оставшийся у западной культуры, когда все прочие, включая и ритуальную вежливость, безвозвратно утеряны), но соблазн как ироническая и альтернативная форма, разбивающая сексуальную референцию, пространство не желания, но игры и вызова.

Сценарий, который легко угадывается даже в простейшей игре соблазна: я не поддамся, ты не заставишь меня кончить, а я заставлю тебя играть и украду твое наслаждение. Едва ли верно низводить эту динамичную игру до уровня сексуальной стратегии. Правильней будет назвать ее стратегией смещения *(seducere:* уводить в сторону, сбивать с пути), совращения, отклонения истины пола: играть — не кончать. Здесь обнаруживается суверенность соблазна, который есть страсть и игра, принадлежащие к строю знака, и в перспективе соблазн всегда торжествует, потому что обратимость и неопределенность — основные черты этого строя.

Обаяние соблазна, конечно, сильнее и выше христианских подачек наслаждения. Нас пытаются уверить, будто наслаждение — естественная цель, многие с ума сходят оттого, что не в силах ее достичь. Но любовь ничего общего не имеет с влечением — разве что в либидинозном дизайне нашей культуры. Любовь — вызов и ставка: вызов другому полюбить в ответ; быть обольщенным — это бросать другому вызов: можешь ли и ты уступить соблазну? (Тонкий ход: обвинить женщину в том, что она на это неспособна.) Иной смысл приобретает под этим углом зрения извращение: это *притворная оболь-щенность,* за которой не скрывается ничего, кроме неспособности поддаться соблазну.

Закон обольщения — прежде всего закон непрерывного ритуального обмена, непрестанного повышения ставок обольстителем и обольщаемым — нескончаемого потому, что разделительная черта, которая определила бы победу одного и поражение другого, в принципе неразличима — и потому, что этот бросаемый другому вызов (уступи еще больше соблазну, люби меня больше, чем я тебя!) может быть остановлен лишь смертью. Секс, с другой стороны, имеет близкую и банальную цель — наслаждение, поскольку это непосредственная форма исполнения желания.

Рустан в " *Столь зловещей судьбе* " (с. 142–143) пишет:

> "В ходе анализа выясняется, какой крайней опасности подвергается мужчина, начинающий прислушиваться к женскому запросу наслаждения. Если своим желанием женщина изменяет ту неизменность, в которой не мог не замкнуть ее мужчина, если сама она становится безотлагательным и беспредельным запросом, если не может больше удерживаться и перестает себя сдерживать, мужчина оказывается отброшен в предсуицидальное состояние. Запрос, не терпящий никаких оттяжек, никаких извинений, безграничный по своей интенсивности и продолжительности, начисто развеивает тот абсолют, каким представлялась женщина, женская сексуальность, даже женское наслаждение… Женское наслаждение всегда может быть снова обожествлено, в то же время запрос наслаждения от женщины вызывает у мужчины, который к ней привязан и не в силах бежать, утрату ориентиров и чувство полной неспособности хоть как-то контролировать ситуацию… Мир распадается под громовые раскаты, когда все желание переходит в запрос. Вот очевидная причина того, что наша культура научила женщин ничего не запрашивать — чтобы впоследствии приучить их ничего не желать".

Что же это за "желание, которое все переходит в запрос"? Идет ли здесь еще речь о "желании женщины"? Не просвечивает ли во всем этом характерная форма безумия, к «освобождению» имеющая лишь весьма отдаленное отношение? Что за новость эта женская конфигурация безграничного сексуального запроса, беспредельного требования наслаждения? На самом деле мы видим здесь предельный пункт, в котором происходит крушение всей нашей культуры — и она принимает (в этом Рустан прав) форму коллективного предсу-ицидального насилия — но не только для мужчины: для женщины также, и вообще для сексуальности.

> "Мы говорим «нет» тому/той, кто любит лишь женщин; тому/той, кто любит лишь мужчин; тому/той, кто любит только детей (стариков, садистов, мазохистов, собак, кошек…)… Новый активист сексуальной революции, рафинированный и эгоцентричный, отстаивает свое право на сексуальный расизм, право на свою сексуальную исключительность. Мы же говорим «нет» всякому сектантству. Если непременно надо стать женоненавистником, чтобы быть педерастом, или мужененавистницей, чтобы быть лесбиянкой… если надо отказаться от ночных похождений, свиданий, случайных знакомств, чтобы защититься от сексуального насилия, — не означает ли это, что во имя борьбы с известными запретами вводятся новые табу, новые моралистические предписания и нормы, новые шоры для рабов…
>
> Мы ощущаем в наших телах не один, не два, но множество полов. В человеке мы видим не мужчину или женщину, но просто человеческое, антропоморфное (!) существо… Наши тела изнывают под гнетом стереотипных культурных барьеров, мы устали от физиологической сегрегации в любом ее виде… Мы самцы и самки, взрослые и дети, голубые, розовые и педики, распутницы, распутники, выпендрежницы, выпендрежники. Мы не принимаем сведения к одному полу всего нашего сексуального богатства. Наш сапфизм — лишь одна из граней нашей множественной сексуальности. Мы отказываемся ограничивать себя тем, что предписывает нам общество, отказываемся быть гетеросексуалами, лесбиянками,

педерастами и что там еще включается в гамму рекламной продукции. Мы абсолютно безрассудны во всех наших желаниях".

***Libe*, июль 1978, Джудит Белладонна Барбара Пентон**

Неистовство безудержной сексуальной активности, желание почти бесследно улетучиваются в запросе и оргазме — не переворачивает ли это диагноз Рустана: если прежде женщин учили ничего не запрашивать, чтобы приучить их ничего не желать, не учат ли их сегодня запрашивать все, чтобы они ничего не желали? Оргазм — разгадка тайны "черного континента"?

Считается, что мужское ближе к Закону, женственность — к наслаждению. Но разве не оказывается наслаждение аксиоматикой разгаданной сексуальной вселенной, которую имеет в виду женское освобождение, продуктом долгого и медленного истощения Закона: наслаждение как истощенная форма Закона — Закон, уже не воспрещающий, как прежде, но предписывающий наслаждение. Эффект обратной стимуляции: наслаждение объявляет и полагает себя автономным — и в тот же миг оказывается на деле лишь эффектом Закона. А может, Закон рушится, и на месте его крушения наслаждение водворяется как новая форма договора. Какая разница — ведь ничего не изменилось: инверсия знаков — стратегический эффект, не более. Таков смысл наблюдаемого сегодня переворота — от мужского начала и запрета, правивших прежде сексуальным разумом, к сдвоенной привилегированности женского и наслаждения. Экзальтация женственности — совершенный инструмент для беспрецедентной генерализации и управляемого распространения Сексуального Разума.

Неожиданный поворот, камня на камне не оставляющий от иллюзий, которые связывались с желанием в разного рода освободительных рационализациях. Маркузе:

> "Все, что в рамках патриархальной системы представляется женской антитезой мужских ценностей, на самом деле может составлять подавленную социально-историческую альтернативу — социалистическую… В патриархальном обществе особые качества приписываются женщине как таковой, и покончить с этим обществом можно как раз отрицанием такой ограниченной атрибуции: нужно дать этим качествам развернуться во всех секторах общественной жизни, относящихся как к труду, так и к досугу. Освобождение женщины в таком случае совпадет с освобождением мужчины…"

То есть освобожденная женственность ставится на службу новому коллективному Эросу (та же операция и в отношении инстинкта смерти — та же диалектика пляски от нового социального Эроса). А что если женственность вовсе не набор каких-то там особых качеств (этим она могла быть лишь в пространстве вытеснения), что если «освобожденная» женственность окажется выражением *эротической индетерминации,* утраты каких бы то ни было специфических качеств как в социальной, так и в сексуальной сферах?

Изрядная ирония женственности всегда окрашивала соблазн, не менее яркой иронией расцвечена и эта ее сегодняшняя индетерминация, и та двусмысленность, в силу которой раскрутка женственности как субъекта сопровождается укоренением ее объектного статуса, т. е. порнографии в самом широком смысле. Это странное совпадение — камень преткновения для всякого освободительного феминизма, которому, конечно же, хотелось бы четко отмежевать одно от другого. Безнадежное это дело: вся значимость освобождения женственности как раз-таки в его радикальной двусмысленности. Вот и Рустан в своем тексте, хотя и склонен придавать столь большое значение взрыву женского запроса, все-таки не может вполне заглушить ощущение катастрофичности перехода всего желания в запрос *также и для женщины.* Если только не считать решающим аргументом вызываемое этим запросом предсуицидальное состояние мужчины, ничто не позволяет провести различие между подобной *монструозностью* женского запроса и наслаждения и тотальным запретом, некогда на него налагавшимся.

Двусмысленность эта обнаруживается и со стороны увядающей мужественности.

Панике, внушаемой мужчине «освобожденным» женским субъектом, под стать разве что его беззащитность перед порнографическим зиянием «отчужденного» пола женщины, женского сексуального объекта. Приводит ли женщину "осознание рациональности ее собственного желания" к требованию наслаждения или, захваченная тотальной проституцией, она саму себя предлагает как средство наслаждения, выступает ли женственность субъектом или объектом, освобожденной или выставленной на продажу — в любом случае она предстает как сумма пола, ненасытная прорва, прожорливая разверстость. Не случайно порнография концентрируется на женских половых органах. Ведь эрекция — дело ненадежное (никаких сцен импотенции в порнографии — все плотно ретушируется галлюцинацией безудержной раскрытости женского тела). Сексуальность, от которой требуется постоянно, непрерывно доказывать и показывать себя, становится проблематичной в смысле шаткости маркированной (мужской) позиции. Пол женщины, напротив, всегда самому себе равен: своей готовностью, своим зиянием, своей нулевой ступенью. И эта непрерывность, контрастирующая с прерывистостью мужского, обеспечивает женственности решительное превосходство в плане физиологического изображения наслаждения, в плане сексуальной бесконечности, сделавшейся фантазматическим измерением нашего бытия.

Потенциально сексуальное освобождение, как и освобождение производительных сил, не знает пределов. Оно требует достижения реального изобилия — "sex affluent society". Нельзя терпеть, чтобы сексуальные блага, равно как и блага материальные, оставались для кого-то редкостью. Пол женщины как нельзя лучше воплощает эту *утопию* сексуальной непрерывности и готовности. Потому-то все в этом обществе феминизируется, сексуализируется на женский лад: товары, блага, услуги, отношения самого разного рода — тот же эффект в рекламе, но это, конечно, не значит, что какой-нибудь стиральной машине приделываются реальные половые органы (чушь какая) — просто товару придается некое воображаемое свойство женственности, благодаря которому он кажется в любой момент доступным, всегда готовым к использованию, абсолютно безотказным и не подверженным игре случая.

Такой вот зияющей монотонностью и тешится пор-носексуальность, в которой роль мужского, эректирую-щеголибо обмякшего, смехотворно ничтожна. Хардкор дела не меняет: мужское вообще больше не интересует, поскольку оно слишком определенно, слишком маркирование (фаллос как каноническое означающее) и потому слишком непрочно. Надежней завораживающая привлекательность нейтрального — неопределенного зияния, сексуальности расплывчатой и рассеянной. Исторический реванш женственности после долгих столетий вытеснения и фригидности? Возможно. Но верней сказать — истощение и ослабление половой маркировки, причем не только исторически памятной марки мужского, крепившей некогда все схемы эректильности, вертикальности, роста, происхождения, производства и т. п., а ныне бесследно изгладившейся в хаосе навязчивой симуляции всех этих тем, — но и метки женственности, во все времена запечатлявшей соблазн и обольщение. Сегодня механическая объективация знаков пола скрывает под собой торжество мужского как воплощенной несостоятельности и женского как нулевой ступени.

Не правда ли, мы оказались в оригинальной сексуальной ситуации изнасилования и насилия — «предсуицидальная» мужественность насилуется неудержимым женским оргазмом. Но это не простая инверсия исторического насилия, чинившегося над женщиной сексуальной властью мужчин. Насилие, о котором идет речь, означает нейтрализацию, понижение и падение маркированного термина системы вследствие вторжения термина немаркированного. Это не полнокровное, родовое насилие, а насилие устрашения, *насилие нейтрального,* насилие нулевой ступени,

Такова и порнография: насилие нейтрализованного пола.

Порно-стерео

Отведи меня к себе в комнату и возьми. В твоем лексиконе есть

нечто непостижимое, что оставляет желать…
Филип Дик. "Бал шизофреников"

Turning everything into reality.
Джимми Клифф

Обманка отнимает одно измерение у реального пространства — в этом ее соблазн. Порнография, напротив, привносит дополнительное измерение в пространство пола, делает его реальней реального — потому соблазн здесь отсутствует.

Нет смысла выяснять, какие фантазмы таятся в порнографии (фетишистские, перверсивные, перво-сцены и т. п.): избыток «реальности» перечеркивает и блокирует любой фантазм. Возможно, впрочем, порнография — своего рода аллегория, т. е. некое форсирование знаков, барочная операция сверхобозначения, граничащая с «гротескностью» (в буквальном смысле: естественный ландшафт в «гротескно» оформленных садах искусственно дополняется природными же объектами вроде гротов и скал — так и порнография привносит в сексуальное изображение красочность анатомических деталей).

Непристойность выжигает и истребляет свои объекты. Это взгляд со слишком близкой дистанции, вы видите, чего прежде никогда не видели, — ваш пол, как он функционирует: этого вы еще не видели так близко, да и вообще не видели — к счастью для вас. Все это слишком правдиво, слишком близко, чтобы быть правдой. Это-то и завораживает: избыток реальности, гиперре-альность вещи. Так что если и сказывается в порнографии игра фантазии, то единственный фантазм здесь относится не к полу, но к реальности и ее абсорбции чем-то совершенно иным — гиперреальностью. Вуайеризм порнографии — не сексуальный вуайеризм, но вуайе-ризм представления и его утраты, умопомрачительность утраты сцены и вторжения непристойного.

Анатомический zoom ликвидирует измерение реальности, дистанция взгляда сменяется вспышкой сверхплотного изображения, представляющего пол в чистом виде, лишенный не только всякого соблазна, но даже виртуальности своего отображения, — пол настолько близкий, что он сливается с собственным изображением: конец перспективного пространства, которое было также пространством воображения и фантазии, — конец сцены, конец иллюзии.

Однако непристойность и порнография — не одно и то же. Традиционная непристойность еще наполнена сексуальным содержанием (трансгрессия, провокация, перверсия). Она играет на вытеснении с неистовством подлинной фантазии. Такую непристойность хоронит под собой сексуальное освобождение: так случилось с маркузевской "репрессивной десублимацией" (даже если нравы в целом этим не затронуты, мифический триумф «развытеснения» столь же тотален, как прежнее торжество вытеснения). Новая непристойность, как и новая философия, взрастает на месте смерти старой, и смысл у нее иной. Раньше ставка делалась на пол неистовый, агрессивный, на реальный подтекст пола — теперь в игру вступает пол, нейтрализованный терпимостью. Конечно, он «передается» открыто и броско — но это передача чего-то такого, что прежде было скрадено. Порно-графия — искусственный синтез скраденного пола, его праздник — но не празднество. Нечто в стиле «нео» или «ретро», без разницы, нечто вроде натюр-мортной зелени мертвой природы, которая подменяет естественную зелень хлорофилла и потому столь же непристойна, как и порнография.

Современная ирреальность не принадлежит больше к строю воображаемого — она относится к строю гипер-референции, гиперправдивости, гиперточности: это выведение всего в абсолютную очевидность реального. Как на картинах гиперреалистов, где различимы мельчайшие поры на лицах персонажей, — жутковатая микроскопичность, впрочем лишенная зловещего обаяния фрейдовской *Unheimlichkeit.* Гиперреализм — не сюрреализм, это видение, которое напускается на соблазн и травит его силой зримости. Вам все время "дают больше". Цвет в кино и на телеэкране был только началом. Сегодня, показывая секс, вам дают цветную, объемную картинку, хайфай звук со всеми низкими и высокими

частотами (жизнь как-никак!) — дают столько всего, что вам уже нечего добавить от себя, нечего дать взамен. Абсолютное подавление: давая вам *немного слишком,* у вас отнимают все. Берегитесь того, что так полно вам «передается», если сами в передаче не участвовали!

Пугающее, душное, непристойное воспоминание — японская квадрофония: идеально кондиционированный зал, фантастическое оборудование, четырехмерная музыка — три измерения окружающего мира плюс четвертое, утробное, измерение внутреннего пространства — технологическое безумие попытки воспроизвести музыку (Бах, Монтеверди, Моцарт!), *которая никогда не существовала,* которую *так* никто никогда не слушал — и не сочинял, чтобы так слушать. Впрочем, ее и не «слушают»: дистанция, позволяющая *слушать* музыку, на концерте или еще где, сведена на нет, вы обложены со всех сторон, нет больше музыкального пространства, все — одна тотальная симуляция эмбиента, отнимающая у вас тот минимум аналитического восприятия, без которого музыка лишается своих *чар.* Японцы попросту — и донельзя добросовестно — смешали реальное с максимумом возможных измерений. Была бы возможность создать гексафонию — они б и на это сподвиглись. Но четвертое измерение, добавленное ими к музыке, — это орудие, которым они вас кастрируют, начисто лишая способности получать музыкальное наслаждение. Тут уже вас другое начинает *завораживать* (но не прельщать: нет чар — нет соблазна): техническое совершенство, хайфай — "высокая верность", определенно столь же навязчивая и пуританская, как и верность супружеская, только в данном случае даже неизвестно — верность чему, потому что никто не знает, где начинается и где кончается реальность, а значит, и умопомрачение ее перфекционистского воспроизведения.

Техника, можно сказать, сама себе роет могилу, поскольку, совершенствуя средства синтеза, она в то же время усугубляет критерии анализа и разрешающей способности, так что полная верность, исчерпывающая точность применительно к реальному вообще становятся невозможны. Реальное превращается в умопомрачительный фантазм точности, теряющийся в бесконечно малом.

"Нормальное" трехмерное пространство по сравнению, например, с обманкой, где одно измерение опущено, — уже деградация, обеднение вследствие *избыточности средств* (вообще все, что является или старается выглядеть реальным, деградация такого рода). Квадрофония, гиперстерео, хайфай — это явная деградация.

Порнография — квадрофония секса. Половому акту в порнофафии придаются третья и четвертая дорожки. Галлюцинаторное господство детали — наука уже приучила нас к этой микроскопии, к этому эксцессу реального в микроскопических деталях, к этому вуайеризму точности, крупного плана невидимых клеточных структур, к этой идее непреложной истины, которая уже абсолютно несоизмерима с игрой видимостей и может быть раскрыта лишь при помощи сложного технического оборудования. Конец тайны.

Разве порнография, со всеми своими фокусами, не точ-нотакже нацелена нараскрытие этой непреложной микроскопической истины — истины пола? Так что порнография — прямое продолжение метафизики, чьей единственной пищей всегда был фантазм потаенной истины и ее откровения, фантазм «вытесненной» энергии и ее *производства* — т. е. выведения на непристойной сцене реального. Потому и заходит в тупик просвещенное мышление, пытаясь решить проблему порнографии: надоли подвергать ее цензуре и допускать только хорошо темперированное вытеснение? Вопрос неразрешимый, так как порнография и меет резон: она участвует в разгроме реального — бредовой иллюзии реального и его объективного «освобождения». Невозможно освобождать производительные силы, не имея также в виду и «освобождения» пола в самой откровенной форме: то и другое равно непристойно. Коррупция пола реализмом, коррупция труда производством — все это один симптом, одна битва.

Рабочий в цепях, говорите? А как насчет японского гегемона на этих замечательных вагинальных представлениях, которые и стриптизом-то трудно назвать: девушки на краю сцены, ноги врозь, тут же зрители в одних рубахах (это как бы популярное зрелище), им разрешается куда угодно совать свой нос, разглядывать вагины хоть в упор, они толкаются,

лезут, только бы получше разглядеть — что? — а девушки мило болтают с ними или же одергивают для проформы. Все прочее в таком спектакле — бичевание, взаимная мастурбация, традиционный стриптиз — отступает в тень перед этим моментом абсолютной непристойности, ничто не сравнится с этой прожорливостью зрелища, далеко превосходящей простое сексуальное обладание. Возвышенное порно: если бы такое было возможно, этих ребят с головы до ног затянуло бы меж раздвинутых ляжек — экзальтация смерти? Может и так, но они не просто смотрят, а еще и обмениваются замечаниями, сравнивают щелки, в какую кто уперся, причем без тени улыбки, с убийственной серьезностью, и руками ничего трогают, разве что играючи. Никакой похоти: предельно серьезный и предельно инфантильный акт, неразделенная завороженность зеркалом женского полового органа — как Нарцисс был заворожен собственным отражением. Далеко за рамками традиционного идеализма стриптиза (там еще, возможно, и был хоть какой-то соблазн), у своего возвышенного предела порнография инвертируется в предельно очищенную непристойность, углубленную до висцеральной области, — зачем останавливаться на *ню,* на генитальном: коль скоро непристойное относится к строю представления, а не просто секса, оно должно исследовать всю внутренность тела и скрытых в нем органов — кто знает, сколь глубокое наслаждение может доставить его визуальное расчленение, вид всех этих слизистых и мышечных тканей? Наша порнография определяется пока еще слишком узко. У непристойности поистине бескрайнее будущее.

Но — внимание! Здесь имеется в виду не какое-то там углубление влечения, а единственно *оргия реализма* и *оргия производства.* Некий раж (тоже, наверное, влечение, но подменяющее собой все прочие), лихорадочное стремление все вывести на чистую воду и подвести под юрисдикцию знаков. Все представить в свете знака, в свете зримой энергии. И пусть всякое слово будет свободно, и пусть в точности отвечает желанию. Мы погрязли в этой либерализации, которая не что иное, как всепоглощающее разрастание непристойности. Потаенному недолго наслаждаться запретом — в конце концов до всего докопаются, все будет извлечено на свет, предано огласке и досмотру. Реальное растет, реальное ширится — в один прекрасный день вся вселенная станет реальной, реальное вселенским, и это будет смерть.

Порносимуляция: нагота — это лишь еще один знак. Прикрытая одеждой, нагота функционирует как тайный, амбивалентный референт. Ничем не прикрытая, она проявляется как знак и вовлекается в знаковое обращение: нагота-дизайн. То же в каком-нибудь hard core или blue porny: половой орган, зияющий либо стоячий, — это просто еще один знак в коллекции гиперсексуальности. Фаллодизайн. Чем дальше заводит нас безудержная тяга к «правдивости» пола, к полнейшему разоблачению сексуальной функции, тем глубже мы втягиваемся в пустую аккумуляцию знаков, тем плотнее замыкаемся в бесконечном сверхобозначении — реальности, которой больше нет, и тела, которого никогда не было. Вся наша культура тела, включая сюда способы «выражения» его «желания», всю стереофонию телесного желания, — отмечена неизгладимой печатью монструозности и непристойности.

Гегель: "Подобно тому как на поверхности человеческого тела, в противоположность телу животного, везде раскрывается присутствие и биение сердца, так и об искусстве можно утверждать, что оно выявляет дух и превращает любой образ во всех точках видимой поверхности тела в глаз, образующий вместилище души". Значит, нет и не может быть наготы как таковой, нет и не может быть нагого тела, которое было бы только нагим, — нет и не может быть просто тела. Как в том анекдоте: белый человек спрашивает индейца, почему тот ходит голый, а индеец в ответ: "У меня все — лицо". В нефетишистской культуре (где отсутствует фетишизация наготы как объективной истины) тело не противопоставляется, как у нас, лицу, которое одно наделяется взглядом и вообще завладевает всем богатством выражения: там само тело — лицо, и оно глядит на вас. Поэтому оно не может показаться непристойным, т. е. нарочно быть показано голым. Оно не может быть *увидено* голым, как у нас — лицо, потому что в действительности оно есть символическая завеса, только это и ничто иное, и соблазн рождается как раз в игре таких

завес, когда тело, собственно, упраздняется "как таковое". Здесь играет соблазн — но его нет там, где завесу срывают во имя прозрачности желания или истины.

Неразличенность тела и лица в тотальной культуре видимостей — различение тела и лица в культуре смысла (здесь тело становится монструозно *видимым,* делается знаком монстра по имени желание) — затем тотальный триумф этого непристойного тела в порнографии, вплоть до полного стирания лица: эротические модели и актеры порнофильмов не имеют лица, они просто не могут быть ни красивыми, ни уродливыми, ни выразительными — все это несовместимо с жанром, функциональная нагота стирает все прочее, остается одна зрелищность пола. В некоторых фильмах дается просто крупный план совокупления в сопровождении утробных шумов: само тело отсюда исчезло, разлетевшись на самостоятельные частичные объекты. Лицо, неважно какое, здесь неуместно, так как нарушает непристойность и восстанавливает смысл там, где все нацелено на полное его уничтожение в умопомрачительном исступлении пола.

Деградация, которая приводит к террористической очевидности тела (вместе с его "желанием") и кончается тем, что мир видимостей лишается последних тайн. Культура десублимации видимостей: все здесь материализуется в самом что ни на есть объективном виде. Порнокультура по преимуществу, поскольку везде и всегда нацелена на механизмы реального. Разве не порнокультура эта идеология конкретности, фактичности, потребления, абсолютного превосходства потребительной стоимости, материального базиса вещей, тела как материального базиса желания? Одномерная культура, где кульминация всего — конкретика производства или удовольствия — нескончаемый труд, бесконечное механическое совокупление. Непристойность этого мира в том, что ничто здесь не оставлено видимостям, ничто не предоставлено случаю. Все здесь — очевидный и необходимый знак. Это мир куклы с половыми признаками, которая умеет делать пи-пи, говорить, а когда-нибудь и любовью сможет заняться. Реакция маленькой девочки: "Моя сестренка умеет все то же самое. Вы не подарите мне настоящую?"

От дискурса труда и производительных сил до дискурса пола и влечения — всюду один и тот же подтекст: ультиматум *про-изводства* в буквальном смысле слова. Первоначально «производство» означало не столько изготовление чего-либо, сколько действие, в результате которого нечто становится видимым, проступает, является. Производство пола, таким образом, принципиально не отличается от какого-нибудь «делопроизводства» или, скажем, выступления актера, который *выводит* на сцене свой характер.

Производство означает насильственную материализацию того, что принадлежит к иному строю, а именно строю тайны и соблазна. Всегда и везде соблазн противостоит производству. Соблазн изымает нечто из строя видимого — производство все возводит в очевидность: очевидность вещи, числа, понятия.

Все должно производиться, прочитываться, выражаться в реальном, видимом, в показателях эффективности, все должно транскрибироваться в силовые отношения, в системы понятий или вычисляемую энергию, все должно быть сказано, аккумулировано, переписано, взято на учет: таков секс в порнографии — но разве не тем же самым занимается вообще вся наша культура, для которой непристойность естественная среда — показательная культура монстрации, демонстрации, производственной монструозности.

Во всем этом нет места соблазну: не знает его порнография, моментальное производство половых актов, жестокая актуальность удовольствия, эти тела лишены соблазна, взгляд пронизывает их насквозь и увязает в пустоте прозрачности — но точно так же нет ни тени соблазна и во всей вселенной производства, управляемой принципом прозрачности сил в строе видимых и вычисляемых феноменов: вещей, машин, половых актов или валового национального продукта.

Неразрешимая двусмысленность: в порнографии пол вытравливает соблазн, но и сам не выдерживает давления аккумулированных знаков пола. Пародия триумфа, симуляция агонии: порнография во всей своей неоднозначности. В этом смысле она правдива, поскольку отражает состояние системы сексуального устрашения галлюцинацией,

устрашения реального гиперреальностью, устрашения тела его насильственной материализацией.

Обычно порнографии предъявляется двоякое обвинение: она, дескать, манипулирует сексом с заведомой целью ослабить взрывной потенциал классовой борьбы (бородатые разговоры о "мистифицированном сознании" и т. п.); вместе с тем ее обличают и как рыночную коррупцию пола — истинного, хорошего, того, что составляет элемент естественного права и подлежит освобождению. Выходит, порнография маскирует некую истину — то ли капитала и базиса, то ли пола и желания. Но ведь порнография вообще ничего не маскирует (кстати сказать): она не какая-нибудь идеология, т. е. не прячет никакой истины, — она симулякр, т. е. эффект истины, прячущий только то, что никакой скрытой истины не существует.

Порнография как бы говорит нам: хороший пол существует, потому что я — карикатура на него. В своей гротескной непристойности она представляет собой попытку спасти истину пола, придать большую убедительность отживающей модели пола. Но весь вопрос в том, правда ли имеется какой-то хороший пол, правда ли есть пол вообще — как идеальная потребительная стоимость тела, как потенциал наслаждения, который может и должен «освобождаться». Тот же вопрос стоит и перед политической экономией: имеется ли помимо меновой стоимости (как абстракции и бесчеловечной сущности капитала) еще и «хорошая» субстанция стоимости, некая идеальная потребительная стоимость товаров и общественных отношений, которая может и должна "освобождаться"?

Seducere / Producere

В действительности порно не что иное, как парадоксальный предел сексуального. Реалистическое обострение реального, маниакальная одержимость реальным: вот что непристойно, этимологически (obscene: вне сцены, вне представления) и вообще во всех смыслах. Но разве уже само сексуальное не есть форсированная материализация — разве «пришествие» сексуальности само по себе не органичный элемент западной реалистики — свойственной нашей культуре одержимости желанием все на свете разложить по полочкам и всему найти полезное применение?

Так же как в иных культурах нелепо пытаться обнаружить и выделить религиозное, экономическое, политическое, юридическое, да и само социальное, не говоря уж о прочих категориальных фантасмагориях, поскольку ничего подобного там просто нет, поскольку эти понятия все равно что венерические болезни, которыми мы их заражаем, чтобы "лучше их понять", так и в нашей культуре нелепо выделять сексуальное в автономную инстанцию, понимать его как несводимую данность, к которой даже можно свести все прочие. Следовало бы издать критику сексуального разума или, лучше, генеалогию сексуального разума на манер ницшев-ской генеалогии морали, потому что ведь это и есть наша новая мораль. Мы могли бы сказать о сексуальности, как о смерти: "Это привычка, к которой сознание приучено не так уж давно".

С непониманием и смутным сочувствием смотрим мы на культуры, для которых половой акт не является целью в себе, для которых сексуальность не превратилась в это смертельно серьезное дело — высвобождение энергии, принудительная эякуляция, производство любой ценой, гигиенический контроль и учет тела. Культуры, сохранившие длительные процессы обольщения и чувственного общения, где сексуальность только одна служба из многих, длительная процедура даров и ответных даров, а любовный акт не более как случайное разрешение этой взаимности, скандированной ритмом неизбежного ритуала. Для нас все это уже не имеет никакого смысла, сексуальное для нас строго определяется как *актуализация желания в удовольствии,* а все прочее — литература. Необычайная конкретизация и концентрация на оргастической функции — на энергетической функции, говоря в более общем плане.

Мы культура преждевременной эякуляции. Все больше и больше соблазн, обольщение

в любых своих аспектах, этот в высшей степени *ритуализованный* процесс, заглушается *натурализованным* сексуальным императивом, уступает место непосредственной и императивной реализации желания. Наш центр тяжести действительно сместился клибидинальной экономике, которая оставляет место лишь натурализации желания, обреченного либо влечению, либо машинному функционированию, но в первую очередь воображаемому с его определяющими константами вытеснения и освобождения.

Теперь не говорят уже: "У тебя есть душа, ее надлежит спасти", но:

"У тебя есть пол, ты должен найти ему хорошее применение",

"У тебя есть бессознательное, надобно, чтобы «оно» заговорило",

"У тебя есть тело, им следует наслаждаться",

"У тебя есть либидо, нужно его потратить" и т. д.

Это требование ликвидности, поточности, ускоренной обращаемости психического, сексуального и телесного — точная реплика закона, управляющего товарной стоимостью: капитал должен находиться в обращении, никаких фиксированных пунктов, цепочка инвестиций и реинвестиций не должна прерываться, стоимость должна иррадиировать непрестанно — такова сегодняшняя форма реализации стоимости, сексуальность же, сексуальная *модель,* есть способ ее проявления на уровне тел.

Секс как модель принимает форму *индивидуального* предприятия, опирающегося на ресурсы *естественной* энергии: каждому его желание, и пусть победит лучший (в наслаждении). Это не что иное, как форма капитала, потому-то сексуальность, желание и наслаждение — *подчиненные* формы. Появившись не так уж давно на горизонте западной культуры в качестве системы отсчета, они показали себя упадочными, остаточными ценностями, идеалом низших классов (буржуазии, потом мелкой буржуазии) на фоне аристократических ценностей крови и рождения, вызова и обольщения или на фоне ценностей коллективных, религиозных и жертвенных.

Впрочем, у тела — тела, с которым мы неустанно себя соотносим, — нет иной реальности, кроме реальности сексуальной и производственной модели. Одним и тем же движением капитал порождает энергетическое тело рабочей силы и то инстинктное тело, которое сегодня мы воображаем оплотом желания и бессознательного, психической энергии и влечения, пронизанное первичными процессами, — само тело превратилось в первичный процесс и тем самым в антитело, последнюю координатную систему для революции. Оба порождаются одновременно в пространстве вытеснения, их видимый антагонизм не более чем эффект удвоения. Раскрывать в тайне тел какую-то там «развязанную» либидинальную энергию, противостоящую будто бы связанной энергии производительных тел, раскрывать в желании инстинктную и фантазматическую истину тела только и означает, что извлекать на поверхность все ту же психическую метафору капитала.

Вот вам желание, вот вам бессознательное: шлаковый отвал политической экономии, психическая метафора капитала. И сексуальная юрисдикция предстает идеальным средством в плане фантастической пролонгации юрисдикции частной собственности каждому назначить распоряжение кой-каким капитальцем: капиталом психическим, капиталом либидинальным, капиталом сексуальным, капиталом бессознательным, за который каждому надлежит отвечать перед самим собой, под знаком своего собственного освобождения.

Фантастическая редукция соблазна. Сексуальность в том виде, к которому приводит ее революция желания, сексуальность как способ производства и обращения тел делается таковой, получает возможность озвучиваться в терминах "сексуальных отношений" лишь ценой забвения всякой формы соблазна — так же как социальное начинает озвучиваться в терминах "социальных отношений" или "социальных связей" лишь тогда, когда утрачивает всякую символическую подоплеку.

Повсюду, где секс преподносит себя как функцию, как автономную инстанцию, это происходит за счет ликвидации им соблазна. Сегодня еще он в большинстве случаев лишь замещает и заменяет отсутствующий соблазн или выступает остатком и инсценировкой провалившегося соблазна. *Тогда это отсутствующая форма соблазна, появляющегося как*

сексуальная галлюцинация — в форме желания. Именно эта ликвидация процесса обольщения и придает силу современной теории желания.

Взамен формы соблазнительной мы получаем теперь процесс производительной формы, «экономии» пола: ретроспективу влечения, галлюцинацию запаса сексуальной энергии, бессознательного, куда вписаны вытеснение и трассировки желания: все это, как и психическое вообще, — результат автономизации сексуальной формы, точно так же некогда природа и экономика явились осадком автономизированной формы производства. Естество и желание, то и другое в идеализированном виде, суть сменные компоненты поступательно развивавшихся схем освобождения: раньше это было освобождение производительных сил, сегодня — тела и пола.

Рождение сексуального как такового, сексуального слова, как некогда рождение клиники, клинического взгляда: на голом месте, *где не было прежде ничего,* разве что бесконтрольные, бессмысленные, неустойчивые либо предельно ритуализованные формы. Где не было, значит, и вытеснения, которым мы неизменно грузим свои суждения не только о нашем собственном обществе, но, пуще того, и обо всех предшествующих: мы осуждаем их как примитивные в технологическом плане, но по сути также и с точки зрения сексуальной и психической, за неимением у них понятия о сексуальном и бессознательном. Мы-то везучие, у нас этим психоанализ занимается, он все нам рассказал, все тайное облек в слова — невероятный расизм истины, евангелический расизм Слова и его пришествия.

Мы притворяемся, будто сексуальное просто вытеснено там, где оно не обнаруживается само по себе, — так мы его спасаем. Но говорить о сублимированной вытесненной сексуальности в первобытных, феодальных и тому подобных обществах, просто говорить в этих случаях о какой-то «сексуальности» и бессознательном — признак непроходимой глупости. И даже вовсе не бесспорно, что это объяснение наилучшим образом подходит к нашему собственному обществу. В этом ключе, т. е. в плане пересмотра самой гипотезы сексуальности, пересмотра выделения пола и желания в особую инстанцию, можно присоединиться к мнению Фуко, когда он говорит (но не по тем же соображениям), что *и в нашей культуре нет и никогда не было никакого вытеснения.*

Сексуальность, как она нам преподносится, как она озвучивается, подобно политической экономии, конечно, всего лишь монтаж, симулякр, который всегда пробивала, забивала и обходила практика, как вообще какую угодно систему. Связность и прозрачность такая же фикция в отношении *homo sexualis,* как и в отношении *homo oeconomicus.*

Все это длительный процесс, который синхронно закладывает фундамент психического и сексуального, который ложится в основу "другой сцены", сцены фан-тазма и бессознательного, и одновременно — производящейся здесь энергии, психической энергии, которая не что иное, как прямой эффект сценической галлюцинации вытеснения, галлюциногенной энергии как сексуальной субстанции, что затем метафоризируется и метонимизируется по разного рода топическим, экономическим и прочим инстанциям в соответствии со вторичными, третичными и тому подобными модальностями вытеснения, — восхитительное здание психоанализа, прекраснейшая галлюцинация подоплеки мира, как сказал бы Ницше. Какая небывалая эффективность у этой модели энергетической и сценической симуляции, какая небывалая теоретическая психодрама эта инсценировка психе, этот сценарий пола как последней инстанции и высшей реальности (так же кое-кто гипостазировал производство). Впрочем, дело не столько в издержках экономического, биологического или психического на эту инсценировку — дело не в «сцене» или "другой сцене": весь сценарий сексуальности (и психоанализа) как модель-симуляция должен быть поставлен под вопрос и пересмотрен.

Это правда, что сексуальное в нашей культуре возобладало над соблазном и аннексировало его в качестве подчиненной формы. Наше инструментальное видение все вывернуло наизнанку. Потому что в символическом строе сначала идет как раз соблазн, а секс только *присовокупляется —* вдобавок к соблазну, как его нечаянный прирост. В этом смысле можно провести аналогию между сексом и исцелением в практике

психоаналитического лечения и, скажем, разрешением от бремени индианки в рассказе Леви-Стросса: все это происходит как бы "в довершение", помимо причинно-следственных связей — в этом весь секрет "символической действенности":

обольщение мысли влечет процессы внешнего мира — вспомним рассказ Чжуан-цзы о мяснике, который так полно постиг внутреннее строение бычьей туши, что мог описать и разделать ее, совершенно не пользуясь лезвием ножа: род символического разрешения, которое *вдобавок* влечет за собой и решение какой-то практической задачи.

Обольщение тоже действует таким вот способом символической артикуляции, дуальной аналогии со строением другого — это может в довершение повлечь за собой секс, но необязательно. Скорее уж, соблазн — вызов самому существованию сексуального. И если даже по всей видимости наше «освобождение» поменяло местами термины и бросило победоносный вызов строю соблазна, нам неоткуда взять уверенность, что этот триумф не только поверхностный. Вопрос о глубинном превосходстве ритуальных логик вызова и соблазна над экономическими логиками пола и производства остается открытым.

Потому что все освобождения и все революции хрупки, а соблазн неизбежен. Это он их подстерегает — как есть соблазненных, вопреки себе обольщенных гигантским процессом поражений и срывов, совращающим их от их истины, — это он их подстерегает и в самые минуты их торжества. Так, даже сексуально ориентированному дискурсу постоянно угрожает опасность «проговориться», высказать нечто иное, чем то, что такой дискурс вообще должен высказывать.

В каком-то американском фильме парень пытается снять девушку, но ведет себя слишком вежливо, осторожничает. Девушка резко бросает: "What do you want? Do you want to jump me? Then, change your approach! Say: I want to jump you!" Парень смущенно бормочет: "Yes, I want to jump you". — "Then go fuck yourself!", — а чуть позже, когда он сажает ее в машину: "I make coffee, and then you can jump me" и т. д. На самом деле этот дискурс, старающийся быть чисто объективным, функциональным, анатомическим, стремящийся обойтись без всяких нюансов, не что иное, как игра. Игра, вызов, провокация — вот что ясно читается между строк. Сама его грубость насыщена любовными, сообщническими интонациями. Это новый способ обольщения.

Или еще один диалог, на сей раз из "Бала шизофреников" Филипа Дика:

"Отведи меня к себе в комнату и возьми".

"В твоем лексиконе есть нечто непостижимое, что оставляет желать…"

Можно понять это и в том смысле, что предложение твое, мол, неприемлемо, нет в нем поэзии желания, слишком уж оно прямолинейно. Но, с другой стороны, текст говорит прямо противоположное: что предложение содержит нечто «непостижимое» и это *открывает* путь желанию. Прямое сексуальное приглашение именно слишком прямолинейно, чтобы быть правдой, и в то же время, в тот же миг отсылает к чему-то иному.

По первой версии, здесь просто высказано сожаление по поводу непристойности дискурса. Вторая тоньше: ей удается показать обходной маневр, петлю непристойности, непристойность как соблазнительное украшение, т. е. как «непостижимый» намек на желание, непристойность слишком брутальную, чтобы быть правдой, слишком грубую, чтобы можно было заподозрить неоткровенность, — непристойность как вызов, а значит, опять-таки как соблазн.

Дело в том, что по сути чистый сексуальный запрос, чистое выражение пола просто невозможны. От соблазна не освободиться, и дискурс антиобольщения есть просто последняя метаморфоза дискурса обольщения.

Чистый дискурс сексуального запроса не только нелепость на *фоне* всей сложности аффективных отношений — его попросту не существует. Обманчивость веры в реальность пола и возможность выразить его без обиняков, обманчивость всякого дискурса, верящего в прозрачность, — это также обманчивость дискурса функционального, дискурса научного, любого дискурса истины: к счастью, таковой постоянно подрывается, поглощается, разрушается или, точнее, обходится, огибается, *совращается.* Исподтишка он оборачивается

против самого себя, исподволь разбирает и размывает его иная игра, иная ставка.

Разумеется, нет никакого соблазна ни в порно, ни в сексуальном торге. Они отвратительны, как нагота, отвратительны, как истина. Все это раз-очарованная форма тела, так же как секс есть упраздненная и разочарованная форма обольщения, как потребительная стоимость есть разочарованная форма вещей, как реальное вообще есть упраздненная и разочарованная форма мира.

Но в то же время наготе никогда не упразднить соблазна, потому что в мгновение ока она превращается в нечто совсем иное, в истерическое украшение совсем другой игры, которая оставляет ее далеко позади. Не бывает никакой нулевой ступени, объективной референции, нейтральности, но всегда только новые ставки. Все наши знаки, кажется, устремились сегодня, как тело в наготе, как смысл в истине, к окончательной и решительной объективности, энтропической и метастабиль-ной форме нейтрального — что же еще представляет собой нагое, идеально-типическое тело периода отпусков, простертое под солнцем, тоже нейтрализованным до простого гигиенического средства, бронзовеющее пародийным демоническим загаром? — и однако разве происходит когда-либо остановка знаков на нулевой точке реального и нейтрального, разве не наблюдается всегда, наоборот, реверсия самого нейтрального в какой-то новой спирали ставок, соблазна и смерти?

Какой соблазн таился в сексе? Какой иной соблазн, какой вызов таятся в удалении сексуальных ставок? (Тот же вопрос на другом уровне: что завораживает, какой вызов таится в массах, в удалении ставки социального?)

Любое описание разочарованных систем, даже любая гипотеза о разочарованности систем, о вторжении симуляции, сдерживающего устрашения, об упразднении символических процессов и смерти референциалов, по-видимому, ложны. Нейтральное никогда не бывает нейтральным. Оно спохватывается, снова схватывается пленительностью. Но становится ли оно снова объектом соблазна?

Логики соблазнительные и агонистические, логики ритуальные сильнее секса. *Как и власть, секс не может быть последним словом истории.* Так в фильме "Империя знаков": по содержанию это непрестанный половой акт, но упорствующее наслаждение вновь и вновь спохватывается логикой иного порядка. С точки зрения сексуальной фильм невразумителен, потому что, понятное дело, наслаждение должно вести к чему угодно, только не к смерти. Но безумие, завладевающее парой (безумие только для нас, на самом деле это строжайшая логика), уводит героев к таким крайностям, где смысл перестает быть смыслом, где испытание чувств теряет всякую чувственность. Но и мистическим или метафизическим его тоже не назовешь. Это логика вызова, толкающая партнеров неустанно превышать ставку другого. Если быть точнее, то следует учесть крутой поворот, переход от логики удовольствия, господствующей вначале, когда мужчина ведет игру, к логике вызова и смерти, толчок к которой задает женщина — она становится госпожой игры, тогда как вначале была лишь сексуальным объектом. Именно женское опрокидывает ценность/секс и уводит к агонистической логике соблазна.

Здесь нет места никакой перверсии или патологическому влечению, никакому «родству» Эроса с Танатосом или амбивалентности желания, вообще неуместно любое толкование, доносящееся из наших психосексуальных застенков. Ни о сексе, ни о бессознательном здесь нет речи. Половой акт рассматривается тут как ритуальное действо, церемониал или воинский обряд, где смерть — обязательная развязка (как в греческих трагедиях на тему инцеста), эмблематическая форма исполнения вызова.

Итак, непристойное не исключает соблазна, секс и удовольствие могут соблазнять. Даже самые антисоблазнительные фигуры могут обратиться в фигуры соблазна (о феминистском дискурсе было сказано, что по ту сторону своей тотальной непрельстительности он обрел-таки для себя что-то вроде гомосексуального соблазна). Достаточно, чтобы они вышли за пределы своей истины и перешли в некую обратимую конфигурацию, которая есть также конфигурация их смерти. Точно так же обстоят дела и с первостепенной фигурой антисоблазна — властью.

Власть соблазняет. Но не в расхожем смысле какого-то желания масс, какого-то сообщнического желания (тавтология, которая сводится к обоснованию соблазна в *желании других)* — нет: она соблазняет преследующей ее обратимостью, на которой зиждется ее минимальный цикл. Никаких апастителей и подвластных, никаких жертв и палачей ("эксплуататоры" и «эксплуатируемые» — это да, есть такие, с той и с другой стороны существующие раздельно, потому что нет обратимости в производстве, но в том-то все и дело: на этом уровне не происходит ничего существенного). Никаких *раз-дельных* позиций: власть исполняется в плане *дуально-дуэльного* отношения, в котором она бросает вызов обществу и сама принимает вызов — доказать, что смеет существовать. Если она не «разменивается» по этому минимальному циклу соблазна, вызова и лукавства, то попросту исчезает.

В сущности, власти не существует: нет и быть не может односторонности силового отношения, на котором держалась бы «структура» власти, «реальность» власти и ее вечного движения. Все это мечты власти в том виде, в каком они навязаны нам разумом. Но ничто им не соответствует, все ищет собственной смерти, включая и власть. Точнее, все старается разменяться в обратимости, упраздниться в цикле (вот почему на самом деле нет ни вытеснения, ни бессознательного — потому что обратимость всегда уже тут как тут). *Лишь это соблазняет до глубины.* Власть соблазнительна, только когда становится своеобразным вызовом для себя самой, иначе она простое упражнение и удовлетворяет лишь гегемонистской логике разума.

Соблазн сильнее власти, потому что это обратимый и смертельный процесс, а власть старается быть необратимой, как ценность, как она кумулятивной и бессмертной. Она разделяет все иллюзии реальности и производства, претендует на принадлежность к строю реального и таким образом ввергается в воображаемое и суеверия о себе самой (посредством разного рода теорий, которые ее анализируют, хотя бы и с тем, чтобы оспорить). Соблазн точно не относится к строю реального. Он никогда не принадлежал к строю силы или силовых отношений. Но как раз поэтому он обволакивает весь *реальный* процесс власти, как и весь реальный строй производства, этой непрестанной обратимостью и дезакку-муляцией — *без которых не было бы ни власти, ни производства.*

Пустота, прикрываемая властью, пустота в самом сердце власти, в самом сердце производства — именно она сообщает им сегодня последний отблеск реальности. Без того, что ввергает их в обратимость, сводит на нет, *совращает,* они вообще никогда не обрели бы силу реальности.

Впрочем, реальное никогда никого не интересовало. Это место разочарованности, место симулякра аккумуляции у черты смерти. Нет ничего хуже. Что сообщает ему порой пленительность, что делает истину завораживающе пленительной, так это свершающаяся позади всего воображаемая катастрофа. Разве можно поверить, что власть, экономика, секс, все эти грандиозные *реальные* трюки, продержались бы хоть мгновение без поддерживающей их пленительности, сообщаемой как раз этой изнанкой зеркала, в котором они отражаются, их непрерывной реверсией, ощутимым и неминуемым наслаждением их катастрофы?

Особенно сегодня реальное, кажется, уже не более как груда мертвой материи, мертвых тел, мертвого языка — отложение осадков и отходов. Сегодня еще оценка *резервов реального* (экологические сетования имеют в виду материальные энергии, но скрывают тот факт, что на горизонте вида исчезает не что иное, как сама *энергия реального,* реальность реального и возможность какой бы то ни было разработки реального, капиталистической либо революционной) нас успокаивает: если даже горизонт производства стремится к исчезновению, его легко еще можно заменить горизонтом слова, пола, желания. Освобождать, кончать, давать другим слово, брать самим — это что-то реальное, вещественное, это резерв на будущее. А значит, и власть.

К сожалению, все это не так. Точнее, так, да не надолго. Все это мало-помалу самоистребляется. Секс, как и власть, хотят сделать необратимой инстанцией, желание —

необратимой энергией (энергетическим *резервом.*

Нужно ли напоминать, что желание никогда далеко не уходит от капитала?). Потому что мы, руководствуясь своим воображаемым, наделяем смыслом лишь то, что необратимо: накопление, прогресс, рост, производство. Стоимость, энергия, желание — необратимые процессы, в этом весь смысл их освобождения. (Введите малейшую дозу обратимости в наши экономические, политические, институциональные, сексуальные механизмы — и все мгновенно рухнет.) Именно это обеспечивает сегодня сексуальности ее мифическое полновластие над телами и сердцами. Но это же составляет и хрупкость ее, как и всего здания производства.

Соблазн сильнее производства, соблазн сильнее сексуальности, с которой его никогда не следует смешивать. Это вовсе не внутренний процесс сексуальности, до чего его обычно низводят. Это круговой, обратимый процесс вызова, взлетающих ставок и смерти. Скорее уж сексуальное есть его урезанная форма, описанная в энергетических терминах желания.

Вовлеченность процесса соблазна в процесс производства и власти, вторжение в любой необратимый процесс минимальной обратимости, которая втайне его подрывает и дезорганизует, обеспечивая при этом тот минимальный континуум наслаждения, пронизывающего его, без которого он вовсе был бы ничем, — вот что нужно анализировать. Памятуя о том, что всегда и везде производство стремится истребить соблазн, дабы укорениться исключительно в экономии; силовых отношений — что всегда и везде секс, производство секса стремится истребить соблазн, дабы укорениться исключительно в экономике отношений желания.

Вот почему, принимая гипотезу "Воли к знанию" Фуко, необходимо вместе с тем полностью перефразировать ее изложение. Ведь Фуко только и замечает, что *производство* секса как дискурса, он заворожен необратимым развертыванием и внутренним насыщением речевого поля, которое есть в то же время институция поля власти, с кульминацией в поле знания, которое его рефлектирует (или изобретает). Но откуда же власть черпает эту сомнамбулическую функциональность, это неодолимое призвание насытить пространство? Если и социальность, и сексуальность не имеют собственного существования, но лишь возделываются и инсценируются властью, тогда, быть может, и власть существует лишь как возделанная и инсценированная знанием (теорией) — и в этом случае следует весь комплекс положить в симуляцию, перевернуть это слишком уж совершенное зеркало, даже если производимые им "эффекты истины" столь чудесно поддаются расшифровке.

Впрочем, это уравнение власти и знания, это совпадение их механизмов, которое по видимости правит нам^ в целиком подконтрольном ему поле, это соединение, которое Фуко преподносит нам как полное и вовсю действующее, — быть может, не более чем конъюнкция двух мертвых звезд, озаряемых лишь последними отсветами друг друга, поскольку сами они больше не излучают никакого света. В своей обособленной, изначальной фазе власть и знание противостоят друг другу, порой более чем резко (так же, впрочем, как секс и власть). Если сегодня они смешиваются, то не происходит ли это вследствие прогрессирующего истощения их принципа реальности, их различительных черт, их собственных энергий? Тогда соединение их должно возвещать не удвоенную позитивность, а, скорее, близнечную индифференциацию, на пределе которой только фантомы их, спутавшись друг с другом, продолжают преследовать нас.

Этот явный *стазис* власти и знания, который, кажется, наваливается и накатывает отовсюду, скрывает под собой, возможно, не что иное, как *метастазы* вла-сти, раковые пролиферации полностью расстроенной и дезорганизованной структуры, и если власть до такой степени обобщается и может быть обнаружена сегодня решительно на всех уровнях ("молекулярная" власть), если она становится раком в том смысле, что клетки ее пролиферируют по всем направлениям, не подчиняясь более старому доброму "генетическому коду" политики, то все дело здесь в том, что сама она охвачена раком и вовсю уже разлагается. Или власть поражена гиперреальностью и как раз посреди кризиса симуляции (раковой пролиферации одних и тех же *знаков* — знаков власти) достигает этой

обобщенной диффузии и этого насыщения. Своей сомнамбулической операционности.

Значит, нужно всегда и везде выдерживать пари симуляции, обращать внимание на реверс знаков, потому что, взятые с лицевой стороны и принятые за чистую монету, они, конечно же, всегда приведут нас к реальности и очевидности власти. И точно так же—к реальности и очевидности пола и производства. Именно этот позитивизм и нужно брать с реверса, и как раз этой реверсией власти в симуляции следует заниматься. Сама власть никогда не выдвинет такой гипотезы, как не выдвинута она и текстом Фуко, за что следует его упрекнуть, поскольку тем самым он не порывает с *приманкой* власти.

Перед системой, одержимой полнотой власти и полнотой пола, следует поставить вопрос о пустоте; перед системой, одержимой властью в качестве непрерывной экспансии и инвестиции, — вопрос о реверсии этих пространств: реверсии пространства власти, реверсии сексуального пространства и дискурса; перед системой, завороженной производством, — вопрос о соблазне.

II. Поверхность бездны

Священный горизонт видимостей

Что соблазн, может означать применительно к дискурсу? *Совращенный* дискурс лишается своего смысла и отклоняется от своей истины. Происходит обратное тому, что предполагает психоаналитическое различение явного и скрытого дискурсов. Ведь скрытый дискурс уводит явный дискурс *к* его истине, а не *от* нее. Он принуждает его высказать то, чего говорить не хотелось, он вскрывает глубинную обусловленность — или необусловленность — произнесенного явно. Всегда за пробелом маячит глубина, и смысл — за чертой отрицания. Явный дискурс наделен статусом видимости, которая проникнута, пронизана проступающим наружу смыслом. Задача истолкования — устранить видимости, разрушить игру явного дискурса и затем вызволить смысл, восстановив связь со скрытым дискурсом.

При совращении все наоборот: здесь некоторым образом явное, дискурс в наиболее «поверхностном» своем аспекте, обращается на глубинный распорядок (сознательный или бессознательный), чтобы аннулировать его, подменив чарами и ловушками видимостей. Видимостей далеко не пустяковых, поскольку здесь ведется игра, здесь делаются ставки, здесь накаляется страсть совращения — обольстить сами знаки оказывается важнее, чем дать проступить наружу какой-то там истине, — однако истолкование все это отбрасывает или разрушает в своих поисках скрытого смысла. Вот почему оно есть крайняя противоположность обольщения, вот почему толковательный дискурс менее всего соблазнителен. И дело не только в тех бесчисленных опустошениях, которые учиняются им в царстве видимостей: может статься, что вообще в этом приоритетном поиске скрытого смысла таится глубокое заблуждение. В самом деле, если мы хотим найти то, что отклоняет дискурс — уводит в сторону, «совращает» в собственном смысле, соблазняет и делает соблазнительным, — к чему далеко ходить, углубляться в какой-то *Hinterwelt* или бессознательное: причина заключена в самой его видимости, в поверхностном круговращении его знаков, беспорядочном и случайном либо же ритуальном и кропотливом, в его модуляциях, его нюансах: все это размывает концентрацию смысла, и соблазнительно именно это, тогда как смысл дискурса никогда еще никого не прельщал. *Всякий смысловой дискурс желает положить конец видимостям:* вот его приманка и его обман. Но также и абсолютно невозможное предприятие: дискурс неумолимо отдается во власть своей собственной видимости, а значит, вовлекается в игру обольщения, и значит, подчиняется неизбежности *своего провала как дискурса.* Но вполне возможно, что всякий дискурс втайне искушаем этим провалом и этим распылением своих собственных целей, своих эффектов истины — в эффектах поверхности, играющих роль зеркала, которое абсорбирует и

поглощает смысл. Вот что происходит в самую первую очередь, когда дискурс *сам себя обольщает* — изначальная форма, позволяющая ему абсорбироваться и опустошиться от своего смысла, чтобы тем легче завораживать других: первобытное обольщение языка.

Всякий дискурс втайне участвует в этом завлечении, в этом пленительном прельщении, и если даже сам он этого не делает, вместо него это сделают другие. Все видимости составляют заговор, чтобы дать бой смыслу, чтобы искоренить всякий смысл, преднамеренный или же нет, и обратить его в игру, в другое правило игры, на сей раз произвольное, в другой, неуловимый ритуал, более рискованный и соблазнительный, нежели генеральная линия смысла. И биться дискурсу приходится не столько с тайной бессознательного, сколько с поверхностной бездной своей собственной видимости, победа же, если она суждена, одерживается не над грузными фантазмами и галлюцинациями смысла или того, что противно смыслу, но над искрящейся, играющей тысячью игр, поверхностью бессмыслицы. Только недавно удалось вывести из игры эту ставку обольщения, чья стихия — священный горизонт видимостей, и заменить ее ставкой «углубленности», ставкой бессознательного, ставкой истолкования. Но ничто не мешает нам подозревать хрупкость и эфемерность такой замены, ничто не мешает усомниться в этом скрытом дискурсе и его призрачном господстве, открытом психоанализом — открытие, равнозначное обобщению терроризма и насилия истолкования на всех уровнях, — никто не знает, насколько прочен весь этот механизм, с помощью которого из игры вывели или пытались вывести всякое обольщение, не окажется ли он сам при ближайшем рассмотрении лишь весьма хрупкой моделью-симуляцией, принимающей вид непреодолимой структуры только потому, что требуется как можно лучше скрыть все побочные эффекты — именно эффекты обольщения, начинающие подтачивать все строение. Ведь вот что самое скверное для психоанализа: бессознательное совращает, оно обольщает своими грезами, обольщает самим понятием «бессознательного», обольщает все время, пока *"оно* говорит", пока *оно* желает говорить — повсюду сказывается структурная двойственность, мы видим, как побочная структура, отмеченная потворством знакам бессознательного и их взаимообмену, поглощает основную, в которой творится «работа» бессознательного, чистую и жесткую структуру перенесения и контрперенесения. Психоаналитическое строение принимает все более омертвелый вид, совратив самое себя — и всех остальных заодно. Станем на мгновение сами аналитиками и поставим диагноз: мы наблюдаем реванш изначально вытесненного, расплату за *вытеснение соблазна,* на котором взрастает психоанализ как «наука» — начиная с самого Фрейда.

Труд Фрейда выстраивается между двумя крайностями, которые вновь и вновь с предельной остротой ставят под вопрос надежность промежуточного строения: между совращением и влечением смерти. О влечении смерти, понятом как своеобразная реверсия предшествующего аппарата психоанализа (топико-экономичес-кого), мы уже говорили в книге "Символический обмен и смерть". Что до совращения, которое после долгих перипетий в силу какого-то тайного сродства снова сходится с другой крайностью, то его следовало бы назвать утерянным объектом психоанализа.

> "По традиции, отказ Фрейда от теории совращения (1897) рассматривается как решающий шаг на пути к утверждению психоаналитической теории и выдвижению на передний план таких понятий, как бессознательная фантазия, психическая реальность, спонтанная инфантильная сексуальность и т. д.".
>
> ***"Словарь психоанализа", Лапланш и Понталис***

Уже не первородная форма, совращение низводится до положения "первичной фантазии" и соответственно, по чуждой ему самому логике, трактуется как своего рода осадок, остаток, дымовая завеса в логическом и структурном поле торжествующей отныне психической и сексуальной реальности. Ошибкой было бы расценивать это умаление совращения как нормальную фазу роста: здесь речь идет о ключевом, чреватом многими последствиями событии. Как известно, совращение исчезнет в дальнейшем из психоаналитического дискурса, а если когда и всплывет снова, то лишь затем, чтобы вновь

быть похороненным и преданным забвению, в логическое подтверждение скрепленного самим мэтром учредительного акта об отклонении совращения. Оно не просто отодвигается в сторону как некий вторичный элемент в сравнении с другими, более важными (как то: инфантильная сексуальность, вытеснение, Эдипов комплекс и т. п.), — оно отвергается как угрожающая форма, которая при случае может оказаться смертельно опасной для дальнейшего развития и логической связности всего построения.

С Соссюром приключилось такая же точно история, как и с Фрейдом. Он начал с «Анаграмм», с описания особой формы языка — или истребления языка, кропотливо-ритуальной формы деконструкции смысла и стоимости, но затем тоже от всего отрекся, чтобы приступить к-построению лингвистики. Вираж, вызванный явной неудачей его пробного предприятия, — или же отступление с позиции *анаграмматического вызова* ради перехода к *конструктивной* затее, к основательному и научному изучению способа производства смысла, исключая возможное его истребление? Как бы то ни было, лингвистика родилась именно из этой необратимой конверсии, которая отныне будет составлять ее аксиому и фундаментальное правило для всех, кто продолжит труд Соссюра. К тому, что убито, больше не возвращаются, и забвение этого изначального убийства — необходимый элемент логического и триумфального развития любой науки. Всей энергии траура и мертвого объекта суждено раствориться в симулированном воскрешении действий живого. И все же следует сказать, что Соссюр хотя бы сумел под конец прочувствовать осечку этой лингвистической затеи, оставив все в слегка подвешенном состоянии, так что в принципе можно разглядеть сбойность и возможную иллюзорность всей этой столь слаженной на вид механики подстановки. Но подобная щепетильность, из-за которой вообще-то мог обнаружиться факт насильственного и преждевременного погребения «Анаграмм», оказалась совершенно чуждой его наследникам, которым довольно было просто распоряжаться полученной в наследство дисциплиной, — никогда уже не встревожит их мысль об этой бездне языка, бездне языкового обольщения, об этом процессе абсорбции, который столь радикально отличается от производства смысла. Саркофаг лингвистики был надежно запечатан, и поверх наброшен саван означающего.

Так и саван психоанализа набрасывается на обольщение, саван скрытого смысла и *скрытой* прибавки смысла — за счет поверхностной бездны видимостей, той абсорбирующей поверхности, панически моментальной поверхности знакового обмена и соперничества, которую образует обольщение (истерия не что иное, как его «симптоматическое», уже контаминированное латентной структурой симптома проявление, а значит, доп-сихоаналитическое, а значит, размытое, почему истерия и смогла послужить "матрицей конверсии" для психоанализа как такового). Фрейд тоже устранил обольщение — дабы заменить его предельно оперативной механикой *истолкования,* предельно сексуальной механикой вытеснения, которая выказывает все характеристики объективности и связности (абстрагируясь от всевозможных внутренних судорог психоанализа, личностных и теоретических, отчего трещит по швам вся эта распрекрасная связность, отчего ожившими мертвецами восстают все вызовы и соблазны, задавленные было ригоризмом дискурса, — но по сути, скажут добрые души, разве не означает это, что психоанализ жив?). Фрейд хотя бы четко рвал с обольщением, отдаваясь истолкованию (вплоть до последней версии метапсихологии, которая уж точно означает разрыв), однако все вытесненное этим замечательным актом предвзятости так или иначе воскресало в бесчисленных конфликтах и перипетиях истории психоанализа, оно вновь возвращается в игру в ходе любого лечения (истерия здравствует и поныне!), и разве не забавно видеть, как с появлением на сцене Лакана обольщение буквально захлестывает психоанализ, приняв галлюцинаторную форму игры означающих, от которой психоанализ в той строгой, взыскательной форме, которую желал придать ему Фрейд, испускает дух столь же верно и даже еще вернее, чем от своего превращения в институт и неизбежной в таком случае тривиа-лизации.

Конечно, лакановское обольщение — сплошной обман и лукавство, но оно некоторым образом исправляет — заглаживает и искупает — изначальный обман самого Фрейда:

отторжение формы обольщение в пользу «науки», которая и наукой-то едва ли является. Дискурс Лакана, обобщающий в себе психоаналитические приемы обольщения, в некотором роде мстит за это отторгнутое обольщение, только сам способ мщения контами-нирован психоанализом, т. е. в маске мстителя всегда угадываются черты Закона (символического) — лукавое обольщение, которое вечно прикрывается чертами закона и личиной Мэтра, властвующего Словом над истерическими, неспособными к наслаждению массами…

И все же феномен Лакана — скорее всего, свидетельство смерти психоанализа, его гибели под натиском триумфального, хотя бы и посмертного, восстания всего того, что было отвергнуто вначале. Разве нельзя это назвать исполнением судьбы? По крайней мере психоанализ имеет шанс, начав с Великого Отречения, закончить Великим Обманщиком.

Что эта великолепная постройка, эта обитель смысла и толкования, возведенная как никогда более тщательно, обрушивается, не выдержав веса и игры своих собственных знаков, которые из неподъемных терминов смысла снова превратились в уловки безудержного обольщения, в неудержимые термины динамичного обмена, потворствующего игре и лишенного смысла (даже в ходе лечения), — этот факт должен, видимо, воодушевить и ободрить нас. Это знак того, что по крайней мере от истины мы будем избавлены (почему обманщики только и властвуют). И того еще, что кажущийся провал психоанализа в действительности не что иное, как свидетельство искушения, которому подвержена любая великая система смысла, — искушения целиком провалиться в свое собственное отражение с риском потерять всякий смысл, — так возвращается пламя первобытного обольщения и видимости берут реванш. Но тогда в чем же, собственно, обман? Отвергнув в начале пути форму обольщения, психоанализ, быть может, всю дорогу представлял собой некую иллюзию-приманку — иллюзию истины, иллюзию толкования, — которую со временем изобличает и компенсирует лакановская иллюзия обольщения. Так замыкается круг — оставляя, возможно, шанс для каких-то других форм исследования и обольщения.

Та же история — с Богом и с Революцией. Манящей иллюзией иконоборцев было отбросить видимости, чтобы дать истине Бога раскрыться во всем блеске. Иллюзией, потому что никакой истины Бога нет, и в глубине души они, наверное, знали это, так что неудача их была подготовлена той же интуицией, которой руководствовались и почитатели икон: *жить можно только идеей искаженной истины.* Это единственный способ жить истиной. Иначе не вынести (потому именно, что *истины не существует).* Нельзя желать отбросить видимости (соблазн образов). Нельзя допустить удачи подобной затеи, потому что тогда моментально обнаружится отсутствие истины. Или отсутствие Бога. Или же отсутствие Революции. Жизнь Революции поддерживается только идеей о том, что ей противостоит все и вся, в особенности же ее пародийный сиамский двойник — сталинизм. Сталинизм бессмертен: его присутствие всегда будет необходимо, чтобы скрывать факт отсутствия Революции, истины Революции — тем самым он возрождает надежду на нее. По словам Ривароля, "народ не хотел Революции, он хотел лишь зрелища" — потому что это единственный способ сохранить соблазн Революции, вместо того чтобы уничтожать его в революционной истине.

> "Мы не верим тому, что истина остается истиной, когда снимают с нее покров"
>
> ***Ницше***

Обманка, или Очарованная симуляция

Симуляция разочарованная: порнография — правдивей правды — вот апогей симулякра.

Симуляция очарованная: обманка — лживей ложного — вот тайна видимости.

Здесь нет ни фабулы, ни рассказа, ни композиции. Нет сцены, нет зрелища, нет

действия. Все это обманка предает забвению, обходясь чисто декоративной фигурацией неважно каких объектов. Эти же объекты фигурируют и в крупномасштабных композициях эпохи, однако в обманке они фигурируют изолированно, они словно отторгнули дискурс живописи — и тотчас оказывается, что они, собственно, уже не «фигурируют», перестают быть объектами, перестают быть неважно какими. Перед нами белые, пустые знаки, заявляющие ан-типафосность и антирепрезентативность в плане социальном, религиозном, художественном. Шлак и хлам социальной жизни, они оборачиваются против нее и пародируют ее театральность: потому они разбросаны как попало, располагаясь там, где застигнет их случай. Смысл в том, что *эти объекты таковыми появляются.* Они не описывают, как натюрморт, знакомой реальности — они описывают пустоту, отсутствие — отсутствие какой бы то ни было фигуративной иерархии, призванной упорядочивать элементы картины, или же политического устройства.

Это не какие-нибудь тривиальные фигуранты, смещенные с основной сцены, — это призраки, населяющие пустоту сцены. Так что соблазн их—не эстетическое прельщение живописного сходства, но острое метафизическое обольщение пропавшей реальности. Объекты-призраки, метафизические объекты, своей реверсией из реальности они резко противопоставляют себя репрезентативному пространству Ренессанса.

Их незначительность агрессивна. Только объекты вне всякой референции, без какого-либо обрамления — все эти старые тетради, старые книги, старые гвозди, старые доски, остатки пищи только объекты изолированные, выброшенные, фантомные в своей выписанности из любого возможного повествования — только в них может проступить призрачность утраченной реальности, нечто вроде жизни, предваряющей рождение субъекта и его сознания. "Прозрачный, аллюзивный образ, ожидаемый любителем искусства, заменяется обманкой на непроницаемую непрозрачность Присутствия" (Пьер Шарпантра). Симулякры без перспективы, фигуры обманки показываются внезапно, с пунктуальностью звезд, словно совлекши с себя ауру смысла и купаясь в пустоте эфира. Как чистые видимости, они ироничны: ирония избытка реальности.

В обманке нет ни природы, ни ландшафта, ни неба, ни линий перспективы, ни естественного освещения. И никакого лица, никакой психологии, никакой историчности. Здесь все — артефакт, изолированные объекты вне своего референциального контекста, возведенные вертикальным фоном в чистые знаки.

Полупрозрачность, подвешенность, хрупкость, изношенность — отсюда настойчивое присутствие бумаг, писем (обтрепанных по краям), зеркал и часов, истершихся и устаревших знаков какой-то канувшей в повседневном запредельности — зеркало из бывших в употреблении досок, на которых узелки и концентрические линии заболони отмечают время, что-то вроде стенных часов без стрелки, оставляющих только гадать, который час: это уже отжившие свой срок вещи, уже имевшее место время. Единственное, что придает им рельефность, — анахроничность, скрученная в инволюции фигура времени и пространства.

Здесь нет плодов, яств, цветов, никаких корзин или букетов, никаких вообще услад и отрад (мертвой) природы — натюрморта. В последнем случае мы имеем плотскую природу, она располагается плотски в горизонтальном плане, плане почвы или стола — конечно, иногда здесь обыгрываются дисбаланс и диспропорция, вещи показываются искромсанными по краям и недолговечными в употреблении, но они всегда сохраняют весо-мостьреальных объектов, подверженных силе тяжести, которую подчеркивает горизонтальность, — тогда как обманка играет на невесомости, отмеченной вертикальным фоном: все тут в подвешенном состоянии, вещи и время, даже освещение и перспектива, потому что, в отличие от классических объемов и теней натюрморта, у теней обманки нет глубины, сообщаемой каким-либо *реальным* источником освещения: подобно изношенности вещей, они служат знаком легкого головокружения — умопомрачения предшествующей жизни, предваряющей реальность видимости.

У этого таинственного света нет источника, в косом падении его лучей нет уже ничего реального, он как водная гладь без глубины, вода застойная и на ощупь мягкая, как

естественная смерть. Вещи тут давно утратили свою тень (свою вещественность). Не солнце их освещает, а иная, ярчайшая, звезда, и вместо атмосферы здесь — не преломляющий лучей эфир: быть может, их напрямую озаряет сама смерть, и тень их только этот смысл и имеет? Эта тень не поворачивается вместе с солнцем, не растет под вечер, не дрожит и не колеблется: непременная, непоколебимая бахрома вещей. Она не следует законам кьяроскуро или ученой диалектики света и тени, неизменно участвующей в игре живописи, — это просто прозрачность вещей в лучах черного солнца.

Чувствуется близость этих объектов черной дыре, откуда течет к нам реальность, реальный мир, обычное время. Такой эффект смещения центра вперед, вынесение зеркала объектов навстречу субъекту сопутствует *явлению двойника* под видом всех этих скучных, бесцветных объектов, что и рождает присущий обманке эффект обольщения, захваченности: осязаемое умопомрачение, перекликающееся с шальным желанием субъекта сжать в объятиях собственное отражение и в результате исчезнуть. Потому что реальность захватывает тогда только, когда наше тождество в ней теряется или накатывает на нас галлюцинацией нашей собственной смерти.

Физическая попытка ухватить вещи, однако сдержанная, как бы подвешенная, и потому уже скорее метафизическая, — объекты обманки окутаны таким же волшебством, как и момент открытия ребенком своего зеркального отражения, это что-то вроде вспышки непосредственной галлюцинации, предшествующей перцептивному строю.

Поэтому чудесное действие обманки, если уж на то пошло, никак нельзя связывать с реалистичностью изображения. Виноград Зевксида, написанный столь правдиво, что птицы слетаются поклевать его? Ерунда все это. Не от избытка реальности можно ждать чуда, а как раз наоборот, от внезапного ослабления реальности, когда мы вдруг лишаемся почвы под ногами и в полуобмороке балансируем на краю бездны. Эта утрата сцены реального как раз и передается посредством *сюрреальной* знакомости вещей. Когда распадается иерархическая организация пространства с привилегированным положением глаза и зрения, когда эта перспективная симуляция — потому что это только симулякр — лишается силы, вступает в игру нечто иное, нечто связанное с *осязанием* (воспользуемся этим выражением за неимением лучшего), некое осязательное гиперприсутствие вещей, которые "как бы схватываются". Однако этот тактильный фантазм ничего общего не имеет с обычным чувством осязания: здесь речь идет о метафоре той «захваченности», которую рождает упразднение сцены и пространства представления. Эта захваченность сразу проецируется на окружающий мир, который мы называем «реальным», и открывает нам, что «реальность» — это на сцене поставленный мир, объективированный глубиной и ее правилами, что это *принцип,* которому следуют и с которым сообразуются живопись, скульптура и архитектура эпохи, но все же не более чем принцип, не более чем симулякр — которому экспериментальная гиперсимуляция обманки кладет конец.

Создатель обманки не имеет в виду совпадение образа с реальностью — он производит симулякр, вполне сознавая правила и уловки ведущейся здесь игры: имитируя третье измерение, он ставит под сомнение реальность этого третьего измерения, имитируя и утрируя эффект реального, он подвергает радикальному сомнению сам принцип реальности.

Ослабление хватки реального *через эксцесс видимостей реального.* Вещи тут слишком уж похожи на то, что они действительно есть, но это сходство — как бы вторичное состояние, тогда как истинный их рельеф, проступающий за этим *аллегорическим* сходством сквозь льющийся по диагонали свет, — это выпуклая ирония избытка реальности.

Глубина тут вывернута наизнанку: вместо убегающих вдаль линий ренессансного пространства в обманке эффект перспективы некоторым образом проецируется вперед. Объекты здесь уже не бегут панорамой перед обшаривающим их глазом (привилегия паноптического взгляда), но сами «обманывают» глаз благодаря своего рода внутреннему рельефу — не потому, что внушают веру в реальный мир, которого не существует, но потому, что, вступив в игру, опрокидывают привилегированную позицию взгляда. Глаз перестает быть генератором развернутого пространства, становясь вместо этого внутренней

точкой схождения проходящих через объекты линий. Впереди расползается совсем иная вселенная — здесь *нет горизонта,* никакой горизонтальности, это как тусклое зеркало, в которое упирается взгляд, и позади него — ничего. Такова, собственно, сфера видимости: самим вам ничего не видать, это вещи вас видят, они не убегают от вас, но бросаются вам навстречу, освещенные этим светом, который льется невесть откуда, бросая эту тень, которая никак не может утянуть их в настоящее третье измерение. Ведь это измерение, измерение перспективы, всегда указывает также глубину нечестности знака по отношению к реальности — вся наша живопись со времен Ренессанса растлевается этой нечестностью.

Отсюда контрастирующая с эстетическим наслаждением жутковатая странность обманки, отсюда *Unheimlichkeit* диковинного рассвета, в чьих лучах является она этой сверхновой реальности Запада, что триумфально прорастает из Ренессанса: обманка есть ее *иронический симулякр.* Сюрреализм был тем же самым по отношению к функционалистской революции начала двадцатого века — ведь сюрреализм тоже не что иное, как иронический сдвиг по фазе принципа функциональности. Как и обманка, сюрреализм, строго говоря, не принадлежит к истории искусства: им присуща метафизическая значимость. Они атакуют нас, обрушиваясь на сам эффект реальности или функциональности, а значит, и эффект сознания. Они целят в изнанку и реверс, они разрушают очевидность мира. Вот почему их наслаждение, их обольщение столь радикальны, даже если ничтожно малы, — ведь соблазн их рождается от радикального *налета* видимостей, от жизни, предваряющей способ производства реального мира.

В этом плане обманку уже не втиснуть в понятие живописи. Подобно своему сверстнику *stucco,* она может делать, имитировать, пародировать решительно все. Она делается прототипом злокозненного использования видимостей. Игра принимает фантастический размах в XVI веке и заканчивается стиранием границ между живописью, ваянием и зодчеством. В настенных и потолочных росписях ренессанса и барокко смешиваются живопись и скульптура. В обманках-стенах и улицах Лос-Анджелеса архитектура обманывается и забивается иллюзией. Обольщение пространства знаками пространства. После стольких разговоров о производстве пространства не самое ли время поговорить о его обольщении?

Политического пространства в том числе. Например, студиолы герцога Урбинского, Федериго да Монтефельтре, в герцогских дворцах Урбино или Губбио: крошечных размеров святилища, вылитые обманки в сердце необъятного дворцового пространства. Дворец — триумф ученой архитектурной перспективы, развернутое по всем правилам пространство. Студиоло же — обратно повернутый микрокосм: отрезанный от остального здания, без окон, без пространства в собственном смысле — *пространство здесь провернуто симуляцией.* Если дворец в целом представляет собой истинное архитектурное деяние, явный дискурс искусства (и власти), то как обстоит дело с этой ничтожной клеточкой студиоло, что соседствует с капеллой как еще одно сакральное место, только с оттенком чародейства? Не очень-то ясно, что именно происходит здесь с пространством, а значит, и со всей системой репрезентаций, на которую опирается как дворец, так и республика.

Пространство *privatissime,* студиоло — частный удел Князя, как инцест и трансгрессия были монополией царственных особ. Здесь действительно правила игры выворачиваются наизнанку, и в принципе это позволяет иронически предположить, воспользовавшись аллегорией обманки, что внешнее пространство, дворцовое и далее городское, что вообще пространство власти, политическое пространство — *все это, возможно, лишь какой-то эффект перспективы.* Столь опасный секрет, столь радикальную гипотезу Князь обязан хранить для себя, при себе, в строжайшей тайне: *ведь это и есть секрет его власти.*

Вероятно, политики всегда это знали где-то со времени Макьявелли: что источник власти — владение *симулированным* пространством, что политика как деятельность и как пространство — *вне реальности,* представляя собой модель-симуляцию, все манифестации которой — лишь еще один реализованный эффект. Это слепое пятно дворца, это изъятое из архитектуры, оторванное от публичной жизни место, которое некоторым образом управляет

всем ансамблем, — здесь не прямая детерминация, но своего рода внутренняя реверсия, революция правила, проводимая втайне, как в первобытных ритуалах, дыра в реальности, ироническое преображение — вылитый симулякр, скрытый в сердце реальности, от которого та зависит во всех своих действиях и проявлениях: *это сама тайна видимости.*

Так и папа, великий инквизитор, великие иезуиты и теологи — все они знали, что Бога не существует: в этом был их секрет и их сила. Так и студиоло-обманка Монтефельтре — обратный секрет небытия на самом дне реальности, секрет всегда возможной обратимости «реального» в глубину пространства, включая и политическое — главный секрет политического как такового, со временем основательно затерявшийся в иллюзорной «реальности» масс.

I'll be your mirror

Обманка, зеркало или картина: очарование *недостающего измерения —* вот что нас околдовывает. Именно это недостающее измерение образует пространство обольщения и оборачивается источником умопомрачения. И если божественное призвание всех вещей — обрести некий смысл, найти структуру, в которой их смысл основывается, ими столь же несомненно движет и дьявольская ностальгия, подталкивая к растворению в видимостях, в обольщении собственного образа или отражения, т. е. к воссоединению того, что должно оставаться разделенным, в едином эффекте смерти и обольщения. Нарцисс.

Обольщение в принципе выходит за рамки какого-либо представления, поскольку дистанция между реальностью и ее двойником, разрыв между Тождественным и Иным здесь упраздняются. Склонившись над источником, Нарцисс исцеляется от иссушающей раздвоенности: его отражение перестает быть «иным», теперь это его собственная внешность — эта поверхность, которая поглощает его, обольщает его, так что сам он может лишь приближаться к ней до бесконечности, но не в состоянии прорваться по другую сторону, поскольку никакой другой стороны просто нет, как нет между ними никакой рефлективной дистанции. Зеркало вод — поверхность абсорбирующая, а не отражающая.

Вот почему фигура Нарцисса с особенной силой выделяется среди всех прочих великих фигур обольщения, населяющих мифологию и искусство, — обольщения пением, отсутствием, взглядом или косметикой, красотой или уродством, славой, но также поражением и смертью, маской или безумием…

Не зеркало-отражение, вызывающее в субъекте внутренние перемены, не стадия зеркала, на которой субъект находит себе обоснование в воображаемом. Все это имеет отношение к психологическому строю инаковости и тождественности, но не к строю обольщения и соблазна.

Скудостью отличается любая теория отражения, особенно же идея, будто соблазн коренится в притяжении тождественным, в миметическом восхищении собственным образом или в каком-то идеальном мираже сходства. Вот что в связи с этим пишет Винсент Декомб в книге "Бессознательное поневоле":

> "Соблазняет не какой-то определенный женский трюк, но скорее то, что проделан он именно *для вас.* Соблазнительно быть соблазняемым, оболыденность — вот что обольстительно. Иными словами, обольстителен тот человек, в котором мы обнаруживаем оболыденность. Оболь-щенный в другом находит то, что его прельщает, единственный и неповторимый предмет своей завороженности, а именно свое собственное существо, сплошное очарование и соблазн, лестный образ себя самого…"

Всегда только самообольщение, со всеми его психологическими перипетиями. Между тем, в нарциссическом *мифе* не идет речи о зеркале, в котором Нарцисс мог бы заново обрести свой идеально живой образ, речь идет о зеркале как отсутствии глубины, как поверхностной бездне, которая соблазнительна и умопомрачительна для других потому

только, что каждый из нас первым очертя голову в нее бросается.

Всякий соблазн в этом смысле нарциссичен, и весь секрет его — в этой смертоносной поглощенности. Вот почему именно женщинам, которым ближе это другое, тайное зеркало, где они хоронят свое тело и свой образ, ближе оказываются и всевозможные эффекты соблазна. Что до мужчин, то у них есть глубина, но нет тайны: отсюда их сила — и их слабость.

Соблазн не порождается идеальным миражом субъекта, но точно так же не исходит он и от идеального миража смерти. Вот версия Павсания:

> "У Нарцисса была сестра-близнец, точь-в-точь похожая на него во всем: оба были одинаковы и лицом и прической, одевались в одинаковую одежду и в довершение всего вместе ходили на охоту. И вот Нарцисс влюбился в сестру, и когда девушка умерла, он стал ходить к этому источнику, и хотя он понимал, что видит лишь собственную тень, но, даже понимая это, ему все же было утешением в любви то, что он представлял себе, что видит не свою тень, а что перед ним образ сестры".

А.-П.Жеди подхватывает именно эту версию, когда уверяет, что Нарцисс потому только сумел обольстить себя самого, смог найти в себе силу обольщения, что миметически сочетался с утраченным образом покойной близняшки-сестры, возвращенным в его собственном облике.

Но действительно ли необходимо миметическое соотнесение с этим образом покойницы для того, чтобы прочувствовать нарциссово умопомрачение? Ему не требуется никакого близнечного преломления — ему достаточно себя самого как приманки, которая в действительности, быть может, есть приманка собственной смерти — смерть же, может быть, в действительности всегда кровосмесительна — это может лишь усилить ее очарование. "Сестринская душа" — результат спиритуализации того же мотива. Великие истории обольщения — истории Федры или Изольцы — построены на инцесте, и они всегда кончаются роковым образом. Какой же отсюда напрашивается вывод, если не тот, что сама смерть манит нас в инцесте и древнем как мир искушении инцестом, включая также *кровосмесительное отношение, в которое мы вступаем с собственным образом* ? Наш образ обольщает нас потому, что в кощунстве нашего существования утешает неминуемостью смерти. Инволюционное вхождение в свой образ до самой смерти утешает нас перед лицом необратимости факта нашего рождения и необходимости воспроизводить самих себя. Именно благодаря этой чувственной, инцестуозной сделке со своим образом, двойником, смертью нашей, и обретаем мы нашу силу обольщения.

"*I'll be your mirror* ". "Я буду вашим зеркалом" не означает "Я буду вашим отражением", но — "Я буду для вас приманкой".

Соблазнять *— значит умирать как реальность и рождаться в виде приманки.* При этом попадаются на собственную приманку — и попадают в зачарованный мир. Такова сила обольщающей женщины, которая попадается в западню собственного желания и сама себя очаровывает тем, что она приманка, на которую, в свою очередь, должны клюнуть другие. Нарцисс тоже пропадает в своем манящем отражении: именно так он совращается, отклоняясь от собственной истины, и этим своим примером он становится моделью любви, совращая и других от их собственной истины.

Стратегия обольщения — это стратегия приманки. Обольщение приманки подстерегает любую вещь, которая стремится слиться с собственной реальностью.

В этом источник баснословной силы. Ведь если производство только и умеет, что производить какие-то материальные объекты и реальные знаки, через это обретая какую-никакую силу, то обольщение производит лишь приманки, но получает благодаря этому все мыслимые силы, в том числе силу завлечь производство и реальность в их основополагающую иллюзию-приманку.

Обольщение приманки подстерегает даже бессознательное и желание, превращая эти

вещи в *зеркало* бессознательного и желания. Ведь желание захватывает лишь влечение и наслаждение, а настоящее колдовство начинается по ту сторону — когда попадаются в ловушку собственного желания. Такова приманка, которая, на наше счастье, спасает нас от "психической реальности". Такова же приманка психоанализа, поскольку он покупается на свое собственное желание психоанализа: таким образом он погружается в обольщение, самообольщение — и преломляет силу соблазна в собственных своих целях.

Итак, всякая наука, всякая реальность, всякое производство только и делают, что отсрочивают миг соблазна, который в форме бессмыслицы, чувственной и сверхчувственной бессмыслицы, сверкает на небе их собственного желания.

"Raison d'etre приманки. Сокол всякий раз прилетает на красный кожаный лоскут, имеющий вид птицы, — не такая же ли иллюзия сообщает при неоднократном повторении абсолютную реальность пленяющему нас объекту? Вера или заблуждение здесь ни при чем, приманка — это в некотором роде *признание бесконечной силы соблазна.* Потеряв свою близняшку-сестру, Нарцисс справляет по ней траур тем, что ставит для себя неотразимую приманку собственного лица. Ни сознание, ни бессознательное в этой игре не участвуют, здесь нет ничего, кроме обмана".

Приманка может быть вписана в небеса, сила ее от этого ничуть не меньше. Каждому знаку зодиака присуща особая форма соблазна. Ведь каждый из нас ищет милости бессмысленной судьбы, каждый уповает на колдовскую силу какого-то абсолютно иррационального стечения обстоятельств — таково могущество знаков зодиака и гороскопа. И смеяться над этим не стоит — ведь тому, кто отказался от мысли соблазнить звезды, уж точно невесело. Действительно, беда многих как раз в том, что они не витают в заоблачных высях, среди небесных знаков, которые могли бы им подойти, — в сущности, они не уступили соблазну собственного рождения и созвездия, под которым родились. Через всю свою жизнь пронесут они эту судьбу, и даже смерть придет к ним невпопад. Не быть обольщенным своим знаком куда серьезнее, чем не получить награды за свои заслуги или удовлетворения своих аффектов. Утрата символического кредита всегда гораздо серьезнее реальных бедствий и нужд.

Что наталкивает на благотворительную идею открытия Института зодиакальной семиургии, в стенах которого, по аналогии с косметической хирургией, исправляющей телесные недостатки, могли бы заглаживаться несправедливости Знака, и чтобы блудные дети гороскопа имели бы возможность обрести наконец Знак по собственному вкусу, дабы примириться с самими собой. Предприятие, которое просто обречено на успех, по крайней мере так же, как и "мотели смерти", куда люди могут приехать, чтобы умереть так, как они сами того желают.

Смерть в Самарканде

Эллиптика знака, эклиптика смысла — приманка. Смертоносное отвлечение, в мгновение ока производимое одним только знаком.

Такова история про солдата, встретившего Смерть по пути с базара и вообразившего, будто та подала ему какой-то угрожающий знак. Он спешит во дворец и просит у царя лучшего коня, чтобы ночью бежать куда подальше, в далекий Самарканд. Затем царь призывает Смерть во дворец, чтобы упрекнуть за то, что она так перепугала одного из лучших его слуг. Но удивленная Смерть отвечает царю: "Я вовсе не хотела его напугать. Этот жест я сделала просто от неожиданности, увидев здесь солдата, ведь на завтра у нас с ним назначено свидание в Самарканде".

Конечно: чем отчаянней мы пытаемся избежать своей судьбы, тем вернее она нас настигает. Конечно: каждый ищет собственной смерти, и самые промахи наши оборачиваются прямым попаданием. Конечно: пути знаков неисповедимо бессознательны. Все это несомненно является *истиной* свидания в Самарканде, но не объясняет *соблазна* этого рассказа, который едва ли можно считать апологией истины.

Поразительно: ведь это неизбежное свидание могло и не состояться, нет никаких оснований полагать, что солдат явился бы на него, не произойди эта случайная встреча, усугубленная случайностью *наивного* жеста Смерти, который *вопреки ее воле оборачивается манящим жестом соблазна.* Если бы смерть просто призвала солдата к порядку, то история лишилась бы своего очарования, но этим дело не ограничивается — все здесь построено на одном невольном движении. Ни сознательной стратегии, ни даже бессознательной уловки в поведении смерти не заметно, как вдруг в ней нежданно раскрывается целая бездна соблазна: соблазн того, что *проходит стороной,* обольщение знака, который подкрадывается смертным приговором без всякого ведома партнеров (не только солдата, но и самой смерти), знака случайного, как бросок костей, но который определяется каким-то иным чудесным либо злополучным совпадением. Совпадением, которое придает траектории этого знака характер *остроты.*

Никто в этой истории не заслуживает никаких упреков — а иначе выходит, что и царь, отдавший солдату коня, тоже кругом виноват. Нет: только кажется, что персонажи обладают свободой действий (смерть вольна сделать некий жест, солдат волен бежать), но за этой кажущейся свободой выясняется, что каждый следовал какому-то правилу, которое по-настоящему не было известно ни ему самому, ни другому. Правило этой игры, как и всякое фундаментальное правило, должно оставаться тайным; заключается же оно в том, что смерть — не спонтанное событие, но, *чтобы исполниться, она должна прибегнуть к соблазну,* вступить в мимолетный и загадочный сговор с жертвой, воспользоваться знаком, быть может только одним, который так и не будет разгадан.

Смерть — не объективная участь, но свидание. Она сама не может не явиться на него, так как она и *есть* это свидание, т. е. намеченное совпадение знаков и правил, составляющих игру. Сама смерть — лишь невинная участница этой игры: отсюда тайная ирония рассказа. Без этой иронии рассказ ничем не отличался бы от какой-нибудь нравоучительной апологии или же популярной иллюстрации инстинкта смерти, с нею — воспринимается как остроумная находка и разрешается в возвышенном удовольствии. Остроумие самого рассказа вторит жесту-остроте смерти, и два соблазна — смерти и истории — сливаются воедино.

Удивление смерти — вот что восхитительно, удивление столь легкомысленно составленным распорядком и тем, что все до такой степени предоставлено на волю случая: "Ведь не мог же этот солдат не знать, что назавтра ему надлежит быть в Самарканде, надо было заранее время найти…". Она жестом выражает свое удивление — и это вся ее реакция, а между тем не только жизнь солдата, но и ее собственное существование зависят от факта их встречи в Самарканде. Она словно машет на все рукой, и как раз легкость подобного отношения к себе составляет ее очарование — качество, заставляющее солдата стремглав лететь на встречу с ней.

Во всем этом — никакого бессознательного, никакой метафизики, никакой психологии. Нет даже какой-либо стратегии. У смерти нет плана. Случайность она исправляет не менее случайным жестом, таков ее метод — и однако все должно исполниться. Нет ничего, что могло бы не исполниться, — и однако все сохраняет легкость случая, украдкого жеста, непредвиденной встречи, нечитаемого знака. Как покатит — в этом весь соблазн.

Вообще, солдата потому именно понесло на смерть, что он наделил смыслом жест, который такового не имел и не должен был его заботить. Он на свой счет принял то, что ему вовсе не предназначалось, — как мы принимаем, случается, на свой счет чью-то легко сорвавшуюся улыбку, адресованную кому-то другому. Вот когда соблазн достигает своего апогея: когда ничего такого нет. Обольщенный человек поневоле попадается в сеть знаков, которые — пропадают.

И сама наша история соблазнительна именно потому, что знак смерти отклоняется от своего смысла, «совращается». Лишь такие совращенные знаки сами соблазнительны.

Затягивают и поглощают нас только знаки пустые, бессмысленные, абсурдные, эллиптичные, лишенные какой-либо референции.

Мальчик просит фею подарить ему исполнение желаний. Фея соглашается, но с одним условием — чтобы впредь он никогда не смел представлять себе мысленно рыжий цвет лисьего хвоста. "Только-то и всего!" — не раздумывая отвечает герой. И уходит с твердой надеждой на счастье. Но что происходит дальше? Он никак не может отделаться от этого лисьего хвоста, о котором, казалось ему, он уже и думать забыл. Повсюду мерещится ему этот хвост, в мыслях и снах все время мелькает перед ним это рыжее пятно. Несмотря на все усилия, избавиться от наваждения никак не удается. Ни на миг не отпускает героя одержимость этим образом, абсурдным и ничего не значащим, но таким стойким, и чем сильнее досадует он на свое бессилие, тем крепче наваждение. И вот, он не только упускает возможность воспользоваться обещаниями феи, но и вовсе теряет вкус к жизни. Скорее всего, он умирает, так и не сумев избавиться от этого.

История абсурдная, но абсолютно правдоподобная, потому что хорошо показывает всю *силу незначащего означающего,* силу бессмыслицы в роли означающего.

Фея проявила коварство (не о доброй фее сказка). Она знала, что человеческий дух неодолимо привораживается пустым местом, оставленным смыслом. В нашей истории пустота как бы спровоцирована полнейшей незначительностью рыжего цвета лисьего хвоста (поэтому герой так легко отнесся к поставленному феей условию). Бывает и так, что слова и жесты теряют свой смысл вследствие непрестанного повторения и скандирования: затаскать смысл, износить и истощить его, чтобы высвободить чистый соблазн нулевого означающего, пустого термина — такова сила ритуальной магии, сила инкантации.

Но это также может быть и непосредственная завороженность пустотой, как при физическом головокружении на краю пропасти или при метафорическом — от вида двери, за которой пустота. "За этой дверью пустота". Случись вам заметить где-нибудь табличку с подобной надписью — смогли бы вы противиться искушению открыть эту дверь?

Есть масса причин, чтобы стремиться открыть то, что ведет в никуда. Есть масса причин, чтобы ни на миг не забывать того, что абсолютно ничего не означает. Все произвольное наделено также характером тотальной необходимости. Предопределение знака-пустышки, прецессия пустоты, умопомрачение лишенного смысла обязательства, страсть необходимости.

Вот весь секрет волшебства (фея как-никак волшебница). Магия слова, его "символическая эффективность" достигает пика, когда оно произносится в пустоте, вне контекста и референции, приобретая силу *self-fulfilling prophecy* (или *self-defeating prophecy*